

Валерий КУЗНЕЦОВ

Op83

K89

A-349035



*Я посетил места...*

Op 83.31

ОТДЕЛ  
КРАЕВЕДЕНИЯ

а-349035

ор 83  
к 89

Н.

Валерий Кузнецов

ор 83.31

83.3/2 = 411.2/5

# Я посетил места...

Очерки русской словесности

Издание второе, дополненное

а-349035  
16

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

Государственное бюджетное  
учреждение культуры  
«Оренбургская областная универсальная  
научная библиотека им. Н.К. Крупской»

Оренбург-2013

Усп

УДК 891(082)

БК 83.3 (2)рус = Р(8)

© Кузнецов В.Н., 2013

© ОАО «Центр Электронное Издательство», 2013

ISBN 978-2-91185-086-0

УДК 8Р1(092)  
ББК 83.3 (2Рос = Рус)  
К-89

...ВТЭМ ПЫТЭОП R

ОБЪЕМ РУССКОГО СЛОВЕСНОСТИ

Наше второе, дополненное

Кузнецов В.Н.

К-89 Я посетил места...: Очерки русской словесности.

Изд. 2-е — Оренбург: ОАО «ИПК «Южный Урал»,  
2013, — 224 с.

ISBN 978-5-94162-096-0

В своих очерках русской словесности автор предлагает опыты исторической реконструкции культурной жизни южноуральского региона и России, исследует преемственность нравственных традиций отечественной классики, на материалах художественных произведений, связанных с Оренбургским краем XVIII — XIX веков, биографической и мемуарной литературы, новейших архивных исследований учёных-краеведов вводит в оборот малоизвестные факты из жизни и творчества великих писателей.

Издание обращено к учащимся старших классов средней школы, студентам гуманитарных вузов, широкому кругу читателей.

УДК 8Р1(092)

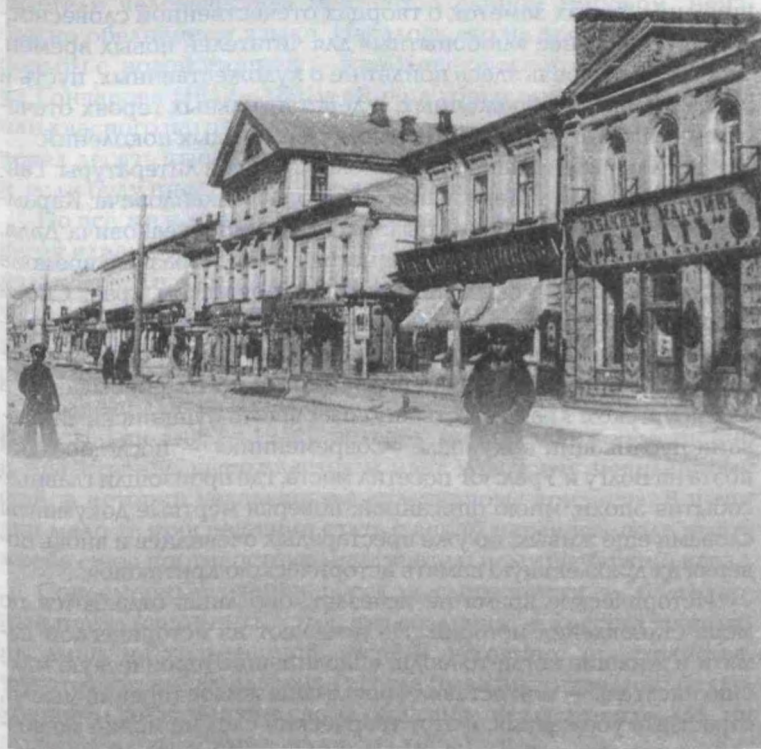
ББК 83.3 (2Рос = Рус)

ISBN 978-5-94162-096-0

© Кузнецов В.Н., 2013.

© ОАО «ИПК «Южный Урал», 2013.

**ПОСВЯЩАЕТСЯ**  
*жене Ольге, дочери Маше,  
внукам Роману и Меланье*



Оренбург. Дом Тимашева.

Ныне на этом месте по адресу: ул. Советская, 32 —  
современный новодел.

## ОТ АВТОРА

Заканчивая «Семейную хронику», к которой вернёмся в основном тексте, её создатель Сергей Тимофеевич Аксаков обращается к действующим лицам повести: «Вы не великие герои, не громкие личности: в тишине и безвестности прошли вы своё земное поприще и давно, очень давно его оставили; но вы были люди, и ваша внешняя и внутренняя жизнь так же исполнена поэзии, так же любопытна и поучительна для нас, как мы и наша жизнь, в свою очередь, будем любопытны и поучительны для потомков»... Хотелось бы думать, что и действующие лица наших заметок о творцах отечественной словесности будут не менее «любопытны» для читателей новых времён. Тем более что речь здесь пойдет не о художественных, пусть и замечательно изображённых, а действительных героях отечественной культуры, «властителях дум» молодых поколений.

Их славные имена стоят у истоков русской литературы: Гаврилы Романовича Державина, Николая Михайловича Карамзина, Ивана Андреевича Крылова, Владимира Ивановича Даля, Льва Николаевича Толстого и многих других, в разные времена счастливо для нас оказавшихся в Оренбургском крае. Своей творческой жизнью они охватили более века русской литературы, вписали в неё ярчайшие страницы, каждый по-своему предварив или продолжив Пушкина. Заметки об их пребывании в Оренбургском крае естественно озаглавить пушкинскими словами публикации в журнале «Современник» — после поездки поэта на Волгу и Урал: «Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мною описанной, поверяя мёртвые документы словами ещё живых, но уже престарелых очевидцев и вновь поверяя их дряхлеющую память историческою критикою».

Историческое время не исчезает, оно лишь отдаляется по мере становления истории. Не исчезают из исторической памяти и жившие когда-то люди, исполнившие героическую миссию писателя — они оставили после себя живое горение мысли, страстные убеждения, и этот творческий след не может не воздействовать на выбор пути будущих поколений. Так Оренбургский край, неведомый край Российской империи, оказывается вовлечённым в историю человечества, знать которую не только интересно, но и насущно необходимо ради лучшего настоящего и будущего.

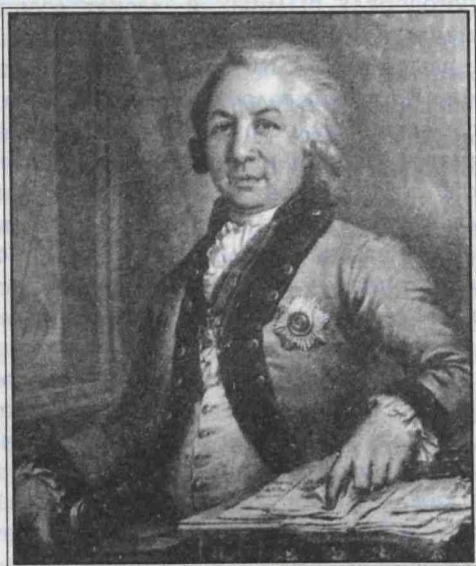
Есть и ещё немаловажный повод обратиться к миру подвижников культуры — наши великие писатели жили, дышали воздухом народного слова. Родной язык — не только средство общения, это родовой знак, народная судьба. В загадках, пословицах, поговорках, былинах и сказках «закодирован», говоря современным термином, исторический путь народа.

Состояние языка неотделимо от духовного состояния нации. Мы живём в пору небывалой по интенсивности и масштабам агрессии массовой культуры. Художественный язык все более вытесняется информационным, безлико переводным, грозящим убожеством сознания. Новые нетерпеливые «благодетели человечества» мечтают о едином мировом, неизбежно обеднённом языке. Началось это не вчера. Отголоски борьбы с новой утопией — в реплике русского классика Ивана Гончарова (1812—1891): «Я не с точки зрения шовинизма или квасного патриотизма боюсь за язык, и, конечно, буду рад через десять тысяч лет говорить одним языком со всеми — и если буду писать, то иметь читателями весь земной шар!

Но всё же я думаю, все народы должны прийти к этому общему идеалу человеческого конечного здания — через национальность, т.е. каждый народ должен положить в его закладку свои умственные и нравственные силы, свой капитал. А мы кладём как-то вяло и лениво, да ещё упряимся не говорить по-русски».

Более полувека назад был обеспокоен будущим и философ Иван Ильин (1883—1954): человек цивилизации «умственно и нравственно вырождается и идёт навстречу невиданному ещё в истории человечества культурному кризису». В наши дни мало «в просвещении стать с веком наравне», надо иметь в себе силы противостоять наступательному безбожию века.

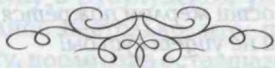
Современные очерки русской словесности — благодарный повод напомнить о том, что создания искусства возможны лишь на возделанной «почве» духовного пространства, что отечественная классика всегда была противоядием бездуховности, не изменяя в своих образцах ни высоте идеалов, ни глубине нравственных запросов личности.



**ДЕРЖАВИН**  
 Гаврила Романович  
 (1743 — 1816)



## «Умом громам повелеваю...»



«Угасло одно из светил поэзии нашей, лучезарнейшее светило её! Державина нет! Смерть похитила в нём у муз почтенного их Нестора, у отечества — мужа знаменитого, прошедшего со славою и пользою поприще долгой жизни, у ближних и друзей — добродушного старца, украшенного семейственными добродетелями». Так, в 1816 году, — на фоне светского равнодушия «высшего общества» — почти вызывающе началась статья молодого поэта и критика Петра Андреевича Вяземского... Наступала эпоха историко-литературного осмысления творчества великого поэта, о котором Пушкин девятью годами позже писал: «Кумир Державина —  $\frac{1}{4}$  — золотой,  $\frac{3}{4}$  — свинцовый — доньше не оценён»...

Откроем XIX том Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона: «Село Державино, Смоленское тож, Самарской губернии (административное деление на 1893 год. — В.К.) Бузулукского уезда, принадлежало Г.Р. Державину, в 1798 году построившему здесь церковь, в которой замечательны образа, писанные в Академии художеств». Информация из другого, уже во многом неведомого нам мира дореволюционной России, которому ещё четверть века набирать невиданные давления будущей Революции. Увы, давно нет тех образов, то есть икон, написанных в той Академии, — размётаны, как и вся Россия, бурями великого и страшного двадцатого века!

В своём последнем стихотворении «На тленность», начатом 6 июля 1816 года за три дня до кончины, Державин с высоты пережитого и выстраданного размышляет о судьбе созданного человеком:

*Река времён в своем стремленьи*

*Уносит все дела людей*

*И топит в пропасти забвенья*

*Народы, царства и царей.*

*А если что и остаётся  
 Чрез звуки лиры и трубы, —  
 То вечности жерлом пожрётся  
 И общей не уйдет судьбы!*

В своих «Записках...», написанных, в духе времени, от третьего лица, впервые изданных только в 1859 году, поэт сообщает: «Гавриил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей, в 1743 году июля 3 числа (14 июля по новому стилю. — В.К.). Отец его (Роман Николаевич. — В.К.) служил в армии и, получив от конского удара чахотку, переведён в оренбургские полки премьер-майором; потом отставлен в 1754 году полковником. Мать его (бездетная вдова Фёкла Андреевна Горина. — В.К.) была из рода Козловых. Отец его имел за собою... крестьян только десять душ, а мать 50».

Исследователь творчества Державина П. Паламарчук уточняет место рождения поэта: «Не в самой Казани, а в одной из казанских деревень, принадлежащих его матери: Сокуры или Кармачи. Отец его... и мать... были похоронены возле церкви села Егорьева, в приходе которой состояли эти две деревни вместе с образовавшейся впоследствии третьей, называвшейся Державино».

В жизни поэта, прошедшего путь от гимназиста и рядового солдата до высочайших государственных должностей, было немало чудесного, необъяснимого, и началось это в 1744 году — когда годовалому младенцу Державину показали комету, он, «указывая на неё перстом, первое слово выговорил: «Бог!»

На четвертом году он умел читать, на седьмом — уже в Оренбурге, которому ровесник, — показан первому оренбургскому губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву и отдан, за неимением учителей, в обучение немцу Иосифу Розе, сосланному сюда на каторжные работы. Жестокий и развращённый невежда, не знающий грамматики, все добродетели которого ущемались в каллиграфическом почерке, Розе, тем не менее, научил через несколько лет своих питомцев «мужеска и женска полу» читать, писать и говорить по-немецки. Пристрастился ученик Державин и к рисованию, «занимаясь им денно и ночью», раскрашивая лубочных «богатырей чернилами, простою и жжёною охрою».

В 1754 году, последнем в службе и жизни, отец поэта полу-

чил во владение 300 четвертей пахотной земли с лесами и угодьями по реке Кутудуку в Бузулукском уезде, где и основал село Державино, бедное настолько, что, по воспоминаниям сына, «даже 15 р. долгу, после отца оставшаго, заплатить нечем было...». Нежданная смерть отца, видимо, помешала, по обычаю дворянских семейств того времени, зачислить малолетнего сына в полк, чтобы к совершеннолетию ему вышел офицерский чин. Поэтому Казанской гимназии, где начал учиться Гаврила Державин по её открытию в 1758 году, он не кончил. В 1762 году он оказался — почти на десять лет — в солдатской казарме Преображенского полка. Любого другого такая неудача в начале пути могла бы сломить на всю жизнь.

С началом службы связано происшествие, едва не стоившее ему жизни. Получив после года службы чин капрала, Державин отпросился в отпуск к матери в Казань. Они съехались в оренбургской деревне, где прожили лето. Дела потребовали поездки Державина в Оренбург, и по дороге, в случайной охоте близ Сорочинской крепости, его тяжело ранил дикий кабан. Спасло чудо: из ружья со сломанным ложем он смог попасть утиным зарядом прямо в сердце рассвирепевшего зверя. Раненого лечили «в Оренбурге недель с шесть»...

*Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые, —*

утверждал Фёдор Тютчев. С Преображенским полком рядовой Державин участвовал в дворцовом перевороте 28 июня 1762 года, когда на трон вместо убитого Петра III взошла его жена Екатерина — будущая державная работодательница необыкновенного чиновника-поэта.

В 1773 году гвардии прапорщик Державин оказался в составе правительственных войск, выступивших против Пугачёва. От главнокомандующего войсками А.И. Бибикова офицер-поэт получил приказ захватить самого руководителя Крестьянской войны. «В поимке самозванца» Державин «не имел счастья», вместо этого дважды сам был «почти в руках Пугачёва». Только чудо спасло Державина от пугачёвского дротика. Так переплелись судьбы ярчайших личностей эпохи, два русских пути, две правды.

Были и другие его потери в войне с народом: он «лишился

всего собственного имущества в Оренбургском уезде и в Казани», и «даже мать ... претерпела злодейский плен». Война открыла глаза на многое, о её причинах он писал казанскому губернатору: «надобно остановить грабительство, или, чтобы сказать яснее, беспрестанное взяточничество, которое почти совершенно истощает людей». Можно сказать, что Крестьянская война довершила его гражданское становление.

С участия Державина в военных событиях Оренбургский край географически уходит как бы на дальний план его жизненных впечатлений, — но не из творческих запасников души. Время от времени он посещает Казань, Оренбург и своё Смоленское на Кутулуке. Поэтическое восклицание о Казани: «О колыбель моих первоначальных дней!» можно было бы отнести и к Оренбургу, помня о его шести детских «самых впитывающих» годах.

Не редкость восточный колорит в его стихах:

*Там степи, как моря, струятся,  
Сегым волнуясь ковылём;*

в строках «Памятника» — своего перевода горацевой одноимённой оды после перевода Ломоносова (пушкинский вариант «Памятника» появится только через четыре десятилетия)

*Слух пройдет обо мне от Белых вод до Чёрных,  
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льёт Урал;  
Всяк будет помнить то в народах неисчётных,  
Как из безвестности я тем известен стал...*

в литературных мистификациях на темы Востока:

*Татарски песни из-под спуду,  
Как луч, потомству сообщу.*

В одах Екатерине II — Фелице он называет себя мурзой (татарским князем. — В.К.), пишет «Видение Мурзы», где приветствует просвещённый абсолютизм, отвергает обвинения в лести: «... сердца моего товаров за деньги я не продаю». Екатерина II царственно подыграла поэту — идеологу самодержавия, пожаловав «прекрасную золотую, осыпанную

бриллиантами табакерку и в ней 500 червонных» с сопроводительной надписью: «Из Оренбурга от Киргизской Царевны мурзе Державину».

Восточные пристрастия поэта объясняются не только и не столько этнографией, — в Бархатной книге, родословной знатных русских боярских и дворянских фамилий, род Державиных восходит к роду «Багримы мурзы, выехавшего из Золотой Орды при царе Иване Васильевиче Тёмном...». Державин никогда не забывал об этом, как и о «славе россов», которой страстно служил как русский поэт.

Но общественное и творческое служение Державина ещё впереди, пока же он «марает стихи без всяких правил», «проводит свою жизнь между грубых своих товарищей», ведёт «маленькую, а потом и ... большую карточную игру», живёт частной жизнью своего века, полной бытовых приключений и опасностей.

В 1777 году поручик Державин вынужден «с огорчением» оставить военную службу с пожалованием чина коллежского советника и трёхсот душ в Белорусской губернии.

Весной следующего года он женился на 17-летней Екатерине Яковлевне — дочери бывшего камердинера Петра III, португальца Бенедикта Бастидона. Мать её была кормилицей Великого князя Павла Петровича, будущего Павла I. Младший современник и друг Державина баснописец Иван Крылов «страстно любил» Екатерину Яковлевну и считал ее гениальной.

«Шум славы» звал Державина, и он, «предприимчив, смел и расторопен», шёл на этот зов.

Судьба Державина, как могучее дерево на высоте, притягивала молнии бытия, — жизнь его вся «в частых, скорых и неожиданных переменах фортуны». Оды к Фелице сделали своё дело: Екатерина II заметила и отличила своего поэта. У него удачная карьера: осенью 1777 года он ещё чиновник департамента Сената, а в 1784-м назначен Олонецким губернатором новооткрываемой губернии.

У Екатерины II было «кадровое чутьё». Для самой северной российской губернии требовался администратор с твёрдым характером землепроходца, готового к неожиданностям. Так,

в новооткрываемый город Кемь на берегу Белого моря близ Северного полярного круга можно было попасть только морским путем в мае-июне вместе с молебщиками Соловецкого монастыря. «Открыть» же город Кемь державинский недоброт генерал-губернатор Тутолмин приказал на исходе августа, когда от Кеми дуют сильные встречные ветры. Державину пришлось проехать более «1500 вёрст то верхом на крестьянских лошадях по горам и топям, то в челночках по озёрам и рекам, где не токмо суда, но порядочные лодки проезжать не могут». На обратном пути в шестивёсельной лодке он чуть не погиб в «страшную бурю» но, впервые попавший на море, «не потерял духу», «вскочил, закричал на гребцов, чтоб не робели», и так чудом спаслись. «Знать, он ещё Промыслом оставлен для чего-нибудь на сем свете», — подытоживает Державин рассказ об очередном злоключении.

В 1786 году Державин переведён в Тамбовскую губернию, где пробыл до конца 1788 года. В обеих губерниях он деятелен, мужествен, энергичен, содействует просвещению, общественной жизни, пытается расчищать административные «авгиевы конюшни» с их сумасбродством и нелепицей, коррупцией, взяточничеством и даже участием высоких чиновников, как бы сейчас сказали, в «заказных» убийствах. В обеих губерниях приятельские отношения с наместниками неизбежно сменялись враждой. Державин был, по собственному признанию, «горяч и в правде чёрт», но причины его противостояния с высшей властью, видимо, глубже: легче простить горячность и правдивость, чем то, когда подчинённый «смеет блистать умом», — редкому начальнику это удавалось, и не только в XVIII веке.

Окружающие поэта чиновники всех рангов, разделявшие пошлые истины века, знали: служить честно — смешно и глупо, — Державин в простодушии мудреца и героя — этого не знал:

*Если где вельможам властным  
Смел я правду брякнуть вслух,  
Мнил быть сердцем беспристрастным  
Им, царю, отчизне друг.*

Но главным памятником Державину остаётся его поэзия. Его ода «Бог» ещё при жизни автора переводилась на европейские, восточные и даже древнегреческий языки. Написанная

«кистью на длинном куске белого атласа», ода украшала дворец японского императора, свидетельствуя о мировой значимости, универсальности русской поэзии. В этой оде явились ещё невиданные на русском Парнасе философская глубина и мужество духа:

*Я телом в прахе истлеваю,  
Умом громам повелеваю,  
Я — царь — я раб — я червь — я бог!*

Стихами о Ломоносове Державин словно сказал о себе:

*В восторгах он своих лишь где черкнул пером —  
От пламенных картин поныне слышен гром.*

Велика заслуга поэта — реформатора русского языка. При всём засилье, особенно в своих одах, тяжеловесной архаики, у него удивительные прорывы в будущее, как в элегии «Задумчивость», датированной 1808 годом:

*Задумчиво, огнь, широкими шагами  
Хожу и меряю пустынь пространство мест;  
Очами мрачными смотрю перед ногами,  
Не зрится ль на песке где человеческий след.  
Увы! я помощи себе между людьми  
Не вижу, не ищущу, как лишь покинуть свет;  
Веселье коль прошло, грусть облагает нами,  
Зол внутренних печать на взорах всякий чтет.  
И мнится, мне кричат долины, реки, холмы,  
Каким огнём мой дух и чувства жегомы  
И от гражайших глаз что взор скрывает мой,  
Но нет пустынь таких, ни дебрей мрачных, гальных,  
Куда любовь моя в мечтах моих печальных  
Не приходила бы беседовать со мной.*

Отсюда понятнее Державин — автор поговорки: «Учиться никогда не поздно», — в его элегии архаичные словарь и стилистика первых строф подадут руку пушкинской прозрачности языка и гармонии строк завершающих. Но до явления поэта Пушкина ещё далеко — ему лишь восемь лет!

Следуя традиции отечественных и мировых шедевров «Слова о полку Игореве», «Слова о Законе и Благодати», Державин относится к художественному слову как воплощению

истины. Отсюда мужество правды: «Змеёй пред троном не сгибаться, стоять — и Правду говорить!» Отсюда нравственное подвижничество русской классики от Пушкина до Шолохова, Есенина, Николая Рубцова...

В 1794 году Державину впервые изменило богатырство духа:

*Всё опустело! Как жизнь мне снести?  
Зельная меня съела тоска... —*

скончалась его Екатерина Яковлевна, с которой он прожил шестнадцать счастливых лет. Другу-поэту Ивану Дмитриеву он сетовал: «Оплачьте, музы, мою милую, прекрасную, добродетельную Пленуру, которая для меня только жила на свете, которая всё мне в нём составляла».

Вторая женитьба Державина связана с его приятельским кругом, куда входили зятя будущей его избранницы Дарья Алексеевны Дьяковой и среди них — поэт, архитектор, музыкант, ботаник, собиратель русских народных песен Н.А. Львов. Член Российской академии, почётный член Академии художеств (где писались «замечательные образы» для державинской церкви!), Львов проектировал здание Почтамта в Петербурге, Борисоглебский собор в Торжке, перестраивал петербургский дом Державина на набережной Фонтанки (ныне за № 118 — восстановленный к 2011 году музей «Дом-усадыба Г.Р. Державина»). Не он ли автор проекта и храма Знамения в Смоленском Державине?

В новом браке поэт и Дарья Алексеевна соединили свои судьбы «хотя не пламенной романической любовью, но благодарно, уважением друг друга и крепким союзом дружбы». Как и в первом его браке, невеста была вдвое моложе.

До конца дней Державин проводил каждое лето в имении жены Званке на берегу Волхова в 70-ти верстах от Новгорода. В стихотворении «Евгению. Жизнь Званская» он идилично показал «труды и дни» помещика — мудреца и жизнелюба. Предсказал он и судьбу этого места, где «бога жил певец, Фелицы»: «Разрушится сей дом, засохнет бор и сад, не вспоманется нигде и имя Званки»...

Словно прощальным приветом от Оренбургского края,



из «страны отрочества» стало знакомство угасающего Державина с 23-летним тогда начинающим литератором и художественным декламатором Сергеем Аксаковым, будущим автором выдающейся дилогии «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука».

После исполнения Аксаковым оды «На смерть князя Мещерского» великий автор обнял его «со слезами на глазах». Державин прозорливо «много предсказывал... в будущем» своему молодому другу.

В том же году произошла его встреча с юным Александром Пушкиным на публичном экзамене в Лицее, отозвавшаяся в хрестоматийных стихах поэта:

*Старик Державин нас заметил  
И, в гроб сходя, благословил.*

По державинским «Запискам...» видно, что в «оренбургскую деревню», о которой поэт «по-соседски» напоминал Аксакову, он наезжал, иногда останавливаясь по несколько месяцев, в 1754, 1763, 1767, 1773, 1778 и в 1784 годах — до смерти матери Фёклы Андреевны, владелицы деревни, жившей в Казани. Державин, в свою очередь, владел имением до своей смерти в 1816 году.

В очерке «Гавриил Романович Державин» смелой для своего времени краеведческой книги «Писатели-классики в Оренбургском крае» её автор Николай Ефимович Прянишников (в 2013 году исполнилась 50-я годовщина его памяти) по исследованиям оренбургского историка и краеведа Сергея Александровича Попова сообщал: «Отец поэта за год до своей смерти получил от казны 300 четвертей пахотной земли с лесами и прочими угодьями по реке Кутулуку в Бузулукском уезде. Это «пожалование» и послужило ... основанием села Державино. Мать поэта перевела сюда небольшое число тамбовских крестьян, унаследованных от первого её мужа, а также 37 крепостных крестьян, купленных ею в Ставропольском ведомстве на Поволжье. Позднее сам поэт увеличил размеры оренбургского имения покупкой смежных земель у своих соседей-башкир и переселил сюда часть крестьян из других своих имений: из Белоруссии, из Арзамасского уезда, из родовых казанских деревушек. Переведённые кре-

стьяне образовали несколько смежных деревень: Романовку, названную так по имени отца поэта, Фёклинку — по имени матери, Гавриловку — по имени самого поэта и Екатериновку — по имени его первой жены. Впоследствии все эти деревни слились в одно село Державино-Смоленское (второе название — от белорусских поселенцев), и названия их сохранились в названиях составных частей села».

После губернаторства в Олонецкой и Тамбовской губерниях назначенный кабинетским секретарём и сенатором, Державин должен был жить в столице. «Чтобы жить в Петербурге сообразно со своим положением, — приводит Н. Е. Прянишников слова биографа поэта Я. К. Грота, — надо было подумать об увеличении своих доходов, и для этого супруги занялись улучшением своего оренбургского имения...» В 1790 году Державин пригласил на должность управляющего этим имением некоего Перфильева («по контракту за 500 рублей в год») и вступил с ним в деятельную переписку. «Речь шла об устройении в деревне винокуренного завода, но с тем, чтобы не отрывать крестьян от их работ, употребляя их не иначе как по найму. В то же время предположено было завести там полотняную и суконную фабрики, на которых крестьяне выучились бы из своей собственной пряжи ткать для себя посредственные полотна и для себя же делать порядочные сукна. При этом Державин объяснял, что цель его вовсе не личная прибыль и не заведение фабрик на широкую ногу; он желал так устроить их, чтобы не только работники для себя и для своего господина ткали, но чтоб и всякий крестьянин мог ими воспользоваться так, как пользуются мельницами, толчеями и т. п.»

После ряда неудач с управляющими оренбургским имением Державин остановился на некоем П. Чичагове — зяте своего уфимского приятеля и торгового посредника Мертваго, который «заботился об устройстве поставки с его завода вина в Уральск, Оренбург и другие города тамошнего края». В июле 1796 года Державин писал к Мертваго: «Спешу вас благодарить за такого человека, которого ум и сведения уверяют меня в полной мере, что деревни мои будут иметь не расхитителя, а устроителя и попечителя как о моём, так и о их благе».

Не случайно именно с годами хозяйственного подъёма имения связано строительство сельского храма в Державино-Смоленском...

При всей краеведческой актуальности очерк Н. Е. Прянишникова не отвечал, да и не мог ответить на вопрос о после-революционной судьбе Державинского имения: в 1970 году — времени выхода третьего издания его книги — политически некорректно было объявлять миру, что усадьба великого поэта стёрта с лица земли, а храм превращён в склад. До постановления Совета Министров РСФСР «О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР об охране и использовании памятников истории и культуры», выхода первого номера ожидаемого, как воздух, альманаха «Памятники Отечества» оставались ещё долгие десять лет...

Так что, не «казённый» интерес, а самодурная (словечко Аполлона Григорьева) занятость державинским творчеством и краеведческое любопытство погнало автора этих строк в первую державинскую поездку в начале восьмидесятых. В том свободном краеведческом поиске с полным пакетом нравственных обязательств, но без элементарных организационных прав вольного туриста и приютила в знаменитом селе гостеприимная и хлебосольная педагогическая чета Ивановых — директор Державинской средней школы Владимир Петрович и его жена и школьная коллега Мария Андреевна.

Неизменно доброжелательный Владимир Петрович, стихийный краевед, собирающий по листику альбом истории своей школы, принял, как свои, заботы державинских изысканий: доставал старые фотографии храма, сообщал краеведческие сведения — всё, что мог узнать у державинских старожилов...

Так и повелось с тех пор... Серая асфальтовая лента оренбургского шоссе Бузулук — Бугуруслан, того самого, что ведёт в Преображенку к Карамзину, потом в Державино, а там, если есть время и колёса — и к Аксакову... Зелёные всех оттенков пространства полей между лесополосами, гигантские холсты ярко-жёлтого рапса, высвеченные предгрозовым солнцем; блёкло-синее небо с бело-серыми облаками. Зелёное и голубое — два заглавных цвета обнимают душу...

Между поворотами — правым — в Преображенку и левым — в Державино — асфальт стелется по широкому логу, густо заросшему вековыми дубами. Так высоки и густы деревья, так узка дорожная просека, что из солнечного дня вдруг въезжаешь в сумерки.

Оренбургская областная универсальная  
научная библиотека им. Н.К. Крупской

52-349035

Они всплывают сами около этих мест — строки, впитанные, кажется, с молоком матери: «И дым Отечества нам сладок и приятен». Грибоедов лишь повторил, переставив державинские удивительные слова: «Мила нам добра весть о нашей стороне, Отечества и дым нам сладок и приятен».

Сколько их было, таких приездов в Державино, и в каждый из них, прежде всего, находил новых своих друзей Ивановых, так же посылали за продавцом хозяйственного магазина Верой Васильевной Глазуновой, и та обязательно приходила, открывала тяжёлые церковные двери, терпеливо, с какой-то даже надеждой пережидая очередную доuku.

С запылённым шумом и треском крыльев поднимались дикие голуби, обдавая холодно-погребным запахом плесени и остро-терпким духом слежавшегося за десятилетия птичьего помёта. Солнечные столбы с пылинками — сквозь дыры и щели в куполе и забитых окнах — высвечивали ящики с банками краски, рулоны толя, бочки, вилы — всё, что может пригодиться в сельском обиходе... С запылённых облупившихся сводов эпически невозмутимо, не имея ничего общего с окружающей мерзостью запустения, смотрели из вечности библейские и отечественные исторические персонажи: великая княгиня Ольга, великие князья Владимир Святославович и Александр Невский — устроители и защитники древней Руси... Неожиданная основа уникальнейшей художественной галереи, единственной в нашей области с её дефицитом исторических реликвий.

Как в своё время для Сергея Тимофеевича Аксакова, пришло время откровений и для Державина: к 240-й годовщине со дня его рождения две областных газеты: «Комсомольское племя» и партийный «Южный Урал» поместили мои заметки о великом поэте — «Он пользу общую хранил» и «... Я жил, сколь мог, для общего добра». В первой из них раскрывались неудобные краеведческие реалии... Нынешним молодым трудно представить всю сложность ситуации, но барьер партийных умолчаний был, наконец, преодолен.

Храм Знамения в его оренбургской деревне словно повторил судьбу своего строителя и эпического героя оды «Бог»:

*«Твоей то правде нужно было,  
Чтоб смертну бездну преходило  
Мое бессмертно бытие» —*

Оренбургский областной краеведческий музей  
И.Н. Кузнецов

он пережил своё уничтожение и в 1990 году заботами Оренбургской областной писательской организации, руководил которой тогда прозаик Пётр Краснов, и областного отделения Всероссийского фонда культуры, взявшими над ним шефство, передан местной православной общине. Под началом подвижника веры старосты общины Василия Егоровича Кондакова, с благословения митрополита Оренбургского и Бузулукского Леонтия, силами немногочисленных верующих прихода началось медленное, нелёгкое восстановление порушенного.

Заметно ускорила работы подготовка к празднованию 255-й годовщины со дня рождения поэта и 200-летия храма. То, что совершалось в Державине накануне юбилея, походило на чудо, почти обычное в судьбе поэта. Руководители областной администрации и её комитета по культуре, нефтяной компании «ОНАКО», районной и сельской администраций сделали, казалось, невозможное: храм ожил алтарём, обнесена металлической оградой его территория, сооружена наземная колокольня и установлен колокол, заасфальтированы подъездные дороги.

Такого, в полном смысле, народного праздника при таком стечении гостей из Бузулука и окрестных сёл державинская земля ещё не видала. Так праздновали разве лишь 200-летие С. Т. Аксакова близ его строящегося Дома-музея в одноимённом знаменитом селе, что в Бугурусланском районе Оренбуржья.

Начался Державинский праздник торжественной службой в освящённом храме и долго не успокаивался под открытым небом, несмотря на грозовые тучи... Это было возвращением поэта в места, давшие ему первые отражения «зеркала времен»...

Но двадцатый обезбоженный век не прошёл даром: в начале века двадцать первого ежедневные службы в храме Знамения Божьей Матери совершались почти в безлюдье... Нет, совсем не случайно уже в семидесятые, казалось бы, совсем не богоборческие годы XX века при спрямлении откоса сельской дороги бульдозер прошёлся по забытым церковным могилам. Потом державинские мальчишки играли в варварский футбол черепами — останками из церковных захоронений...

Если и дальше оставлять детям эстафету беспамятства и одичания, кто, в свою очередь, поручится за *наш* запредельный покой?..

После долгого перерыва нечаянной вышла эта поездка в июле 2013 года. В Державине — впервые за постсоветскую историю села — ждали высоких гостей со всей России: руководителей и сотрудников российских литературных музеев...

Сразу узнал печальную новость: один за другим ушли Владимир Петрович и Мария Андреевна Ивановы — и село как-то сжалось и потускнело, словно лишилось одного из своих душевных средоточий... Не было уже ни Веры Васильевны Глазуновой, ни церковного старосты Василия Егоровича Кондакова...

Мало что изменилось со времён празднования 200-летия в Державинском храме — во всём та же благородная бедность... По словам отца Никандра, который служит здесь с 2002 года, в среднем храм посещают около тридцати прихожан... Немного можно сделать копеечными лептами...

В селе Аксаково, куда из Державино после посещения храма перевезли гостей, в ухоженном зале Дома-музея С. Т. Аксакова прошёл под эгидой министра культуры областной администрации Виктора Александровича Шорикова «круглый стол» в рамках XXIX сессии творческого проблемного семинара директоров Литературных музеев России им. Н. В. Шихаловой». Хотя «круглый стол» был связан, в основном, с Державинским юбилеем, но в выступлениях звучали предложения о превращении Дома-музея С. Т. Аксакова в Государственный историко-литературный и природный заповедник. Главной темой выступлений его участников было восстановление и рациональное использование великого культурного наследия России, в том числе, и Державинских мест.

Здесь нужно подробнее сказать об исторической и культурной российской востребованности поэта, о его новом музее в Санкт-Петербурге. Музей — воссозданная из комплекса зданий городская усадьба XVIII века. Её центром стал дошедший до наших дней дом на набережной Фонтанки, 118, где поэт прожил почти четверть века до своей кончины в 1816 году. С 1790-х годов дом поэта был средоточием духовной жизни Петербурга. Здесь собиралась художественно-литературная и политическая элита России: канцлер А. А. Безбородко, член Государственного Совета, директор Императорской Публичной библиотеки А. С. Строганов, министр народного просвещения А. С. Шишков, директор Императорской Публичной библиотеки, Президент Академии художеств А. Н. Оленин,

академик Императорской Академии художеств Д. Г. Левицкий, писатели-классики Д. И. Фонвизин, Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, В. А. Жуковский и другие, с 1811 года устраивались заседания знаменитой «Беседы любителей российской словесности».

В середине XIX века дом значительно перестраивался, в 1924 году, в советское время особняк как жилой коммунальный дом утратил первоначальную декоративную отделку.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 1998 года памятник истории и культуры федерального значения «Дом-усадьба Г. Р. Державина» передан Всероссийскому музею А. С. Пушкина.

Проект воссоздания усадьбы выполнен в 2001 – 2002 годах специалистами института «Ленпроектреставрация» (главный архитектор Л. А. Одинцова). 28 мая 2003 года, в дни празднования 300-летия основания Санкт-Петербурга, «Музей Г. Р. Державина» открыт в Центральном корпусе усадьбы. Соответствующие экспозиции разместились в шестнадцати интерьерных залах. Здесь представлены рукописи, иллюстрации, редчайшие книги XVIII века, журналы, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства, живопись, графика конца XVIII – начала XIX веков, портреты современников поэта. Живописные портреты Державина кисти Сальватора Тончи, Владимира Боровиковского, Александра Васильевского создают «эффект присутствия» поэта в музейных залах, воссозданы уникальные интерьеры XVIII века: кабинет поэта, Соломенная гостиная, «Диванчик», Домашний театр Державина (2005).

В 2008 году введён в эксплуатацию Гостевой корпус усадьбы, годом позже открыта Оранжерея, где разместилось Литературное кафе.

На берегу Фонтанки восстановлен парк, созданный на рубеже XVIII – XIX веков Н. А. Львовым на гонорар от издания «Анакреонтических песен» Державина, имевших огромный успех. Воссоздана планировка северной части парка (автор проекта реставрации – архитектор института «Ленпроектреставрация» Е. Д. Майорова). В восточной части создан зелёный театр – место проведения литературно-музыкальных концертов и театральных представлений. Завершилась реконструкция городской усадьбы Державина воссозданием сада, известного петербуржцам как Польский сад.

3 июля 2011 года, в преддверье дня рождения Державина, здесь прошёл 22-й Праздник русской поэзии XVIII века. Полностью возрожденный Музей-усадьба Г. Р. Державина занял особую нишу в культурной жизни Петербурга и России.

«Особую нишу» в культурной жизни Оренбуржья могли бы занять, как и Аксаковские места, воссозданные в первоначальном виде Державинские храм и усадьба. Думается, здесь могли бы помочь разыскания в петербургском архиве Н. А. Львова. Есть у нас и собственный опыт восстановления Дома-музея С. Т. Аксакова.

И вот, если немного помечтать (как мечталось, на первый взгляд, оторванно от жизни, в 70-х годах прошлого века в заросшем крапивой Аксаковском парке), что мы всё же восстановим человеческое и эстетическое достоинство Державинских мест, отреставрируем бесценные росписи, восстановим церковную колокольню и водрузим колокол на естественную для него высоту... Построим гостиницу с недорогим рестораном для любознательных туристов, а Державинскую книжную лавку наполним изданиями поэта, державинскими сувенирами и туристическими схемами с посещением памятных оренбургских мест, то... в каком социальном, демографическом окружении окажутся эти оренбургские древности?

В последний наш приезд пожилые прихожанки Державинской церкви обсуждали животрепещущий вопрос закрытия стационара местной больницы. Возможно, какие-то отраслевые объективные показатели и говорят в пользу этого закрытия, но ведь здесь речь идёт не просто о некоем населённом пункте, а о селе, тесно связанном с великим поэтом!

Державино год от году пустеет и стареет, молодёжь, понятно, рвётся в города, где можно найти работу, а жизнь не так однообразна... Но остановить отток населения можно только одним способом: размещением в этих местах сельскохозяйственного или промышленного производства, что за год не делается. Значит, нужна комплексная культурно-хозяйственная программа возрождения Державинских мест, где объединение условий современного комфорта с неповторимым обаянием старого села поможет им стать, как Дом-музей С. Т. Аксакова близ Бугуруслана, полнокров-



ным и сельским, и республиканским центром национальной культуры ...

Жаркий июльский полдень... Ветер несёт вместе с поименной прохладой вольные запахи полыни и чабреца. С юго-запада от ровного горизонта, поросшего щётками лесов, понижается к невидимой из-за вётел ниточке Кутулука пологая равнина. На северо-востоке горизонт взбугривается холмами, переходит в Колочную гору, через овражистую долину взбирается к Лисьей горе, чтобы разбежаться по безымянным шиханам.

Остались от державинских времён этот ветер, насыщенный свежестью трав, вечный — хотелось бы думать так! — абрис холмов да тоненький Кутулук, как символ быстротечной памяти...

И в солнечных пылинках под куполом возрождённой державинской церкви остался — сладкий дым Отечества, завещанный поэтом:

*Так! — весь я не умру; но часть моя большая,  
От тлена убежав, по смерти станет жить,  
И слава возрастёт моя, не увядая,  
Доколь славянов род вселенна будет чтить.*



КАРАМЗИН  
Николай Михайлович  
(1766 – 1826)

## «Высокий пример Карамзина...»



В пятидесяти километрах от Бузулука на берегах речки Кондузлы, превращённой здесь в пруд, прихотливо раскинулось село Преображенка. При основании в 1743 году отцом будущего писателя и историка Михаилом Егоровичем Карамзиным, служившем в Оренбурге в звании капитана, деревня, по тогдашнему обычаю, была названа Михайловкой. Получив несколько сот десятин земли, владелец перевёл сюда из Симбирска своих крепостных крестьян. Они называли деревню по-своему, Карамзихой. В то время она входила в Самарский уезд Симбирской провинции.

После постройки здесь церкви во имя Преображения Господня село получило название, дошедшее до наших дней. Разделить бы ему забвение тысяч российских поселений, если бы 1 (12) декабря 1766 года здесь не родился тот, кто составил славу России.

Дата и место рождения Николая Михайловича Карамзина долгие годы были предметом научных споров. Родиной историка называли Симбирск (до 90-х годов прошлого века — г. Ульяновск), где в 1845 году ему поставлен памятник. Думается, всё же, из всех авторитетных источников естественней оставить свидетельство историка Н. М. Карамзина. О своей «малой родине», называемой в переписке «заволжской, бузулукской или оренбургской деревней», он вспоминал в одном из писем к брату в Симбирск: у 32-летнего Николая Михайловича всплыли в памяти ни с чем не сравнимые «заволжские метели и выюги».

Мать Карамзина умерла в Михайловке в 1770 году и, по местным преданиям, похоронена в ограде первой деревянной церкви, позже снесённой. На этом месте, по свидетель-

ству бузулукского краеведа А. Н. Шестакова, в 1786 году выстроена каменная церковь. В 1771 году «пятилетнего мальчишка в шелковом перувьеневом\* камзолычике с рукавами» увидели уже в Симбирске, куда перевёз семью отец...

Много ли для истории личности значат первые четыре года жизни? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, нужно сказать о феномене Карамзина: его стремительном даже для XVIII века пути к философской и гражданской зрелости.

Вот скрытые от внимания потомков (архив Карамзин не сохранился) его жизненные этапы. Годы домашнего воспитания (под руководством гениального наставника?), овладение церковнославянским, французским, немецким, позже — латинским, греческим, итальянским, польским языками; посещение учёба в Московском пансионе; с пятнадцати лет (!) — служба в петербургском Преображенском полку, откуда выходит в отставку семнадцатилетним поручиком («ведь военное дело не имеет ничего общего с учёностью», скажет позже). И наконец, европейская этическая «доводка, отделка» в московском литературно-философском обществе под началом известного просветителя, масона Н. И. Новикова. Масоны (в переводе с французского «франк-масоны» — вольные каменщики) входили в тайные всемирные организации с центрами (логжми) в разных странах. Целью их провозглашалось объединение человечества в религиозном братском союзе.

В переписке со швейцарским ученым и писателем Лафатером двадцатилетний Николай Карамзин приоткрывает для нас главную причину столь быстрого духовного становления: «я родился с жаждой знаний», «... как только душа моя основательно узнает какой-нибудь предмет, то я ищу опять новый предмета для познания».

В двадцать три года — зрелость реформатора языка и мыслителя — именно в этом возрасте создавались «Письма русского путешественника». Журнальные публикации, а потом книга под тем же названием стали результатом его поездки

---

\* Перувьен — разноцветная шелковая материя.

за границу по маршруту Рига-Кенигсберг-Берлин-Дрезден-Веймар-Швейцария-Париж-Лондон-Петербург. Уехал он в апреле 1789 года, вернулся лишь в июле следующего, 1790-го года. Это было не только и не столько географическим перемещением в пространстве, сколько путешествием по областям духа, культуры, политики, свидетельством русского очевидца переломного для Европы и мира момента 1789–1790-х годов Великой французской революции.

«В минуты роковые» в Европу приехал, по собственной аттестации, «беспечный гражданин вселенной», однако, потрясённый кровавыми революционными событиями, Карамзин в письме из Парижа в апреле 1790 года произносит философский приговор всем революциям как триумфам насилия: «Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция отверстый гроб для добродетели и — самого злодейства... насильственные потрясения губительны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот». И ещё: «Новые Республиканцы с порочными сердцами! разверните Плутарха, и вы услышите от древнего, величайшего, добродетельного Республиканца, Катона, что *безначалие хуже всякой власти!*» Отечественная история трагически подтверждает карамзинские афоризмы...

Возвращаясь же к значению первых лет жизни Карамзина, можно с немалым основанием предположить, что для ребёнка, умеющего *так* учиться у жизни, «заволжские метели и вьюги» стали первым образом громадности России, осознанной гораздо позже глобальной поэтической и философской метафорой, лёгшей в основу его «Истории государства Российского».

В письме из Парижа Карамзин заявляет: «Всё *народное* ничто перед *человеческим*. Главное дело быть *людьми*, а не Славянами». Через десять лет читатели «Вестника Европы» увидят другого Карамзина, провидящего «нервные узлы» будущей российской истории: «Я не смею думать, чтобы у нас в России было немного патриотов; но мне кажется, что мы излишне смиренны в мыслях о народном своём достоинстве, — а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает,

того, без сомнения, и другие уважать не будут». В наше время перевернутых истин уместно напомнить о понимании Карамзиным главного предмета размышлений: «Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения — и потому не все люди имеют его... Если оскорбительно человеку называться сыном презренного отца, то не менее оскорбительно и гражданину называться сыном презренного отечества. Таким образом, любовь к собственному благу производит в нас любовь к отечеству, а личное самолюбие — гордость народную, которая служит опорой патриотизма».

Всё это Карамзин, вчерашний «гражданин вселенной», писал уже после европейского путешествия. Некое новое знание открылось ему в Париже, в грозовой атмосфере Учредительного собрания, в политических «единоборствах» деятелей революции, имена которых были у всех на слуху, в великом отрезвлении от «чистых» революционных грёз. Карамзин оставил общество Новикова, «не найдя той цели, которой ожидал... Карамзин был ума глубокого и ясного... он мог довольствоваться только ясною истиною». (М.А. Дмитриев). Но это новое знание прошло через его сердце, — уже в России, получив известие о смерти грозного диктатора (Робеспьера — «сентиментального тигра», по оценке Пушкина. — В.К.), он пролил слёзы».

После Фонвизина Карамзин был вторым из русских писателей, путешествовавших «с пером в руке». Но в отличие от предшественника он широко публикует путевые размышления. Он не зависит от издателей — сам издаёт «Московский журнал», где кроме его «Писем...» читатели видят творчество лучших русских поэтов: Державина, Ивана Дмитриева, Хераскова. «С необыкновенным восторгом» приняты повести Карамзина «Бедная Лиза» и «Остров Борнгольм», где литературным языком впервые стал светский язык гостиных. Новая проза с её «красотой языка и чувствительностью» заучивается наизусть страницами. Романтические читательницы «Бедной Лизы» примеряют на себя — до самоубийства — несчаст

ную судьбу главной героини. Даже через двадцать лет после издания этих повестей — немалый срок для истории словесности — Пушкин на поставленный себе вопрос: «Чья проза лучшая в нашей литературе?» — отвечал: «Карамзина».

Но слава модного литератора не привлекает. Ещё в 1792 году в его «Письмах...» появляется «эпическое» сожаление: «Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей Российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием». Именно тогда он столкнулся с «нелогичностью» времени, когда дух смущён, а земля уходит из-под ног: «Век просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя — среди убийств и разрушений не узнаю тебя!..». Именно тогда он увидел, как легко может человек освободиться от человечности; что культура, как пыльца на крыльях бабочки, — большинство лишаются её от любого грубого столкновения с действительностью. А если так, что такое *свобода* — не ловушка ли для незрелого ума, подобно равенству и братству, выписанных кровью на революционных знамёнах?

Позже Карамзин скажет: «Свобода состоит не в одной демократии; она согласна со всяким родом правления (то есть и с самодержавием. — В. К.), имеет разные степени и хочет единственно защиты от злоупотреблений власти».

Начало XIX века для Карамзина было чревато не только общественными переменами. Заговорщиками убит Павел — «первый противодворянский царь этой эпохи», как скажет почти через век историк Ключевский. Права гражданства вернулись к запрещённым *зрительским аплодисментам* и слову *отечество*. Карамзин возглавил журнал «Вестник Европы», материалы для которого давали двенадцать лучших иностранных журналов. В круг авторов нового журнала входит молодой Жуковский. Александру Пушкину — лишь несколько лет, его «воспитывает» насыщенная среда литературных общений отца и дяди-поэта. Дом Пушкиных хорошо знают Карамзин и Жуковский.

Весной 1801 года — женитьба на Елизавете Протасовой — «13 лет люблю и знаю». И заговаривание судьбы: «Желатель но, чтобы Бог не отнял у меня того, что имею», — в письме к брату. Но ведь сказал провидец-народ: «Проси добра, а жди худа»... «Лизанька», «милый ангел» скончалась в следующем, 1802 году. В письме к брату Карамзин ещё раз оплакал её: «Вы не знали её, не могли знать и моей чрезмерной любви к ней: не могли видеть последних минут её бесценной жизни, в которой она, забывая свои мучения, думала только о несчастном своём муже... Все для меня исчезло, любезный брат... Стану заниматься трудами, сколько могу: Лизанька того хотела».

«Труды», в которых надеялся он избыть горе, — это занятия историей. Впереди было главное дело его жизни.

Ещё в 1800 году Карамзин исповедует родственным и другу И. И. Дмитриеву: «... по уши влез в Русскую историю сплю и вижу Никона с Нестором». Ему уже 34... Для обычных людей XIX века этот возраст означал, по замечанию Пушкина, завершение круга образования и познания, замену его карьерными хлопотами. Но Карамзин — из «необыкновенных» — он словно воочию видит древних русских героев: великие характеры и поступки которых не должны умереть в народной памяти. Он знает: на каждого Людовика XI на Руси есть свой царь Иоанн, на каждого Кромвеля — свой Годунов, он знает бесподобного Петра Великого. Их эпохи — достояние истории человечества.

Начинал Карамзин не на пустом месте — уже созданы «История Российская» В. Н. Татищева (начальника Оренбургской комиссии в 1737—1738 гг.) и князя М. М. Щербатова, но эти почтенные труды пионеров науки с их архаичным языком хороши для историков, специалистов, его же труд будет прежде всего для читателей.

Такой взгляд на прошлое историк Ключевский назовёт морально-этическим: «сделать из русской истории изящное назидание... в образах и лицах». Критик найдёт, что Карамзин не изучал источники, а выбирал из них живописное и поучительное. Словно предвидя подобные упреки, поэт и кри-



тик Аполлон Григорьев из середины XIX века напоминает: «без толчка, данного литературе и жизни Карамзиным, мы не были бы тем, чем мы теперь», то есть не прошли бы своего пути в исторической науке.

Но «свято место» ещё пусто, великий труд только обдумывается, исторической публицистикой Карамзин только нащупывает эпический стиль. Начало созданию, которое Пушкин назовет «подвигом честного человека», положил указ Александра I от 31 октября 1803 года о назначении Карамзина историографом. Художник-литератор до конца дней «постригается в историки».

И второе событие поздней осени-зимы 1803 — 1804 годов определило его будущее. Из частного письма: «Император пожаловал мне как историографу пенсию в 2000 рублей. Я отказался от своего журнала, чтобы заниматься лишь нашими анналами. После этой новости — вот другая, более важная для моего счастья. Погруженный 18 месяцев в глубочайшую печаль, я снова нашёл в себе способность к тому, чтобы любить и быть любимым. Моя первая жена меня обожала; вторая же выказывает мне более дружбы. Для меня этого достаточно...»

Вторая его жена Екатерина Андреевна Кольванова, внебрачная дочь князя Андрея Вяземского (отца поэта и друга Пушкина Петра Вяземского), получила отличное воспитание в доме родной тётки, потом в доме отца. Старшая дочь Карамзина от его первого брака — Софья не без оснований звала мачеху «маменькой». Вот всё, что надо: «Жизнь мила, когда человек счастлив домашними и умеет работать без скуки...». Карамзин никуда не ездит один, — объясняет, что «дали друг другу слово не расставаться, пока живы».

Строг рабочий кабинет Карамзина — без «шкапов, кресел, диванов, этажерок, ковров...», и всё же это не келья отшельника, — скорее, сейсмическая станция истории. Он разбирает древнейшие рукописи и книги, которые присылают со всех сторон друзья и единомышленники, неразборчивой скорописью со множеством исправлений заполняет страницы первых томов. Он вслушивается и в гулы современности:

наблюдает за стремительным политическим взлётом первого консула Наполеона, теперь императора и диктатора Франции; за формированием противодействующих Наполеону сил: военного союза России, Англии и Австрии. Делает — в 1805 году! — первые политические прогнозы о Наполеоне: «Перебьёт и перестреляет он ещё многих, пока совершенно не слезет с цепи иль не взбесится. Такого медведя давно не было в свете». В конце 1805 года переживает как своё личное поражение русско-австрийских войск в сражении с наполеоновской армией под Аустерлицем: «Несколько ночей не спал...»

«Прибавлялось семейство — у Софьи появлялись сёстры и братья — будущее Пушкинское окружение...»

Историк читает новые главы друзьям. «Я недавно слышал чтение Истории, — пишет поэт Батюшков переводчику «Илиады» Гнедичу, — и уверяю тебя, что такой чистой, плавной и сильной прозы никогда и нигде не слышал».

Между тем сбывались карамзинские пророчества: грабёж превращая церкви в конюшни, наполеоновская армия шла к Москве.

Екатерине Андреевне, выезжающей с детьми в Ярославль, передан лучший и полный экземпляр «Истории», другой — в Архив иностранной коллегии, сам же собирается примкнуть к ополчению. На следующий день после Бородинского сражения и приказа Кутузова об отступлении в гостиную генерал-губернатора Москвы графа Растопчина военные и гражданские присутствующие увидели необыкновенного Карамзина — «он возвышал свой приятный мужественный голос; прекрасные его глаза, исполненные выражением, сверкали как две звезды в тихую, ясную ночь»: «Мы испили до дна горькую чашу — зато наступает... конец наших бедствий»... Выехал он из Москвы, сдачу которой задолго предвидел за несколько часов до вступления неприятеля в опустевшую столицу.

Москва сгорела, «вся моя библиотека обратилась в прах, — горевал Карамзин, — но История цела». С библиотекой

Мусина-Пушкина сторел подлинник рукописи «Слова о полку Игореве» — шедевр древнерусской и мировой литературы, как и большая часть экземпляров его первого издания.

Беда не приходит одна: долго болел и весной 1813 года умер старший сын пятилетний Андрей.

Живая история творилась на глазах: весной 1814 года русские войска с союзниками подошли к воротам Парижа. «Русским варварам» представлялась возможность отомстить за осквернённую и уничтоженную Москву, но свидетель-парижанин вспоминал: «Казалось, они вошли в Париж не как победители, но просто съехались случайно, из простого желания пожить всем вместе...»

Восемь томов Истории до начала правления Иоанна Грозного написаны, надо представить их царю — без высочайшего одобрения двенадцатилетний труд — лишь груда исписанных листов. Значит, надо ехать, и если государь примет Историю, то и переезжать в Петербург...

Последняя дань Москве — свежая могила дочери Натальи... Другу Александру Тургеневу высказывает выстраданное и спасительное, по крайней мере, для себя: «Жить есть не писать историю, не писать трагедии или комедии, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику, всё другое, любезный мой приятель, есть шелуха...»

В Петербурге — встречи, светские и дружеские с «арзамасцами» Жуковским, Вяземским, участниками «кампании двенадцатого года» Батюшковым и Давыдовым, от которых, кажется, ещё пахнет дымом биваков; обед с Державиным и своим вечным оппонентом Шишковым. В Царском Селе Карамзину представляют повзрослевшего лицеиста Пушкина — «Сверчка», по арзамасскому прозвищу, через два года, как никто, понявшего и оценившего историка. Пока же им восторгается Батюшков: «Карамзин, право, человек необыкновенный! И каких не встречаем в обоих клубах Москвы и Петербурга и который явился к нам из лучшего века, из лучшей земли: откуда — не знаю!»

Наконец, долгожданная аудиенция у Александра I. Государь не только одобрил Историю, но и взял на себя цензуру при печатании, на которое дал 60 тысяч рублей.

Вот как писал о выходе невиданного издания самый добросовестный очевидец — Пушкин: «Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною... Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов «Русской истории» Карамзина вышли в свет. Я прочёл их в моей постеле с жадностью и со вниманием. Появление сей книги (так и быть надлежало) наделало много шума и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле».

Сравним с ситуацией 80-х годов прошлого века: стотысячный тираж предпринятого переиздания карамзинской «Истории...» (последнее чудо советской эпохи, — издания подобных масштабов вряд ли скоро повторятся. — В.К.) мог быть уверенно увеличен в несколько раз. Это ли не «тоска по истории» наших современников?».

Дальше — Пушкин: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Несколько времени ни о чем другом не говорили».

«История» стала явлением российского просвещения. Не забывавший об этом Пушкин писал А.А. Бестужеву: «Ты — да, кажется, Вяземский — одни из наших литераторов учатся: все прочие разучаются. Жаль! высокий пример Карамзина должен был их образумить».

Потрясает душевная привязанность Пушкина к Екатерине Андреевне, в которой кроме необыкновенной красоты и ясности ума была обаятельная материнская доброта (она была лишь на несколько лет младше матери Пушкина) — то, чего в детстве был лишен поэт. Жуковский вполне понимал своего друга, читая подобное: «Ты увидишь Карамзиных — тебя да их люблю страстно». Умиравший после дуэли поэт

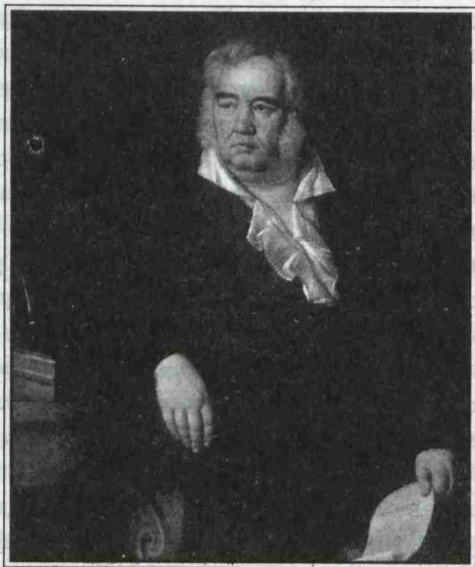
послал за Карамзиной, просил благословить его; прощаясь, поцеловал ей руку...

...На окраине Преображенки, на высоком открытом берегу бывшего пруда — пронзительно светло. Здесь, по рассказам старожилов, близ остатков древней кирпичной людской — стоял двухэтажный брусчатый дом, оштукатуренный снаружи и внутри. Метров двадцать пять в длину и восемь в ширину... В тридцатых годах прошлого века — в советскую эпоху — под руководством «двадцатипятилетия» (так в то время назывались рабочие, по призыву партии приехавшие в деревню для ускорения коллективизаций. — В.К.) Авдеева, председателя организованного им колхоза «Средняя Волга», дом разобрали и перевезли в Державино, где он вскоре сторел. Это в его стены бились «заволжские метели и выюги», взятые Карамзиным в неизбывное наследство. Святое место не только для каждого русского — для каждого человека культуры.

Здесь, кажется, естественней всего вспомнились бы слова Чаадаева о Карамзине, сказанные в письме 1838 года к Александру Тургеневу: «Что касается в особенности до Карамзина, то скажу тебе, что с каждым днём все более и более научаюсь чтить его память. Какая была возвышенность в этой душе, какая теплота в этом сердце! Как здраво, как толково любил он своё отечество! Как простодушно любовался он его огромностью и как хорошо разумел, что весь смысл России заключается в этой огромности!»

В 1826 году, оплакивая кончину Карамзина, Жуковский пишет из Дрездена его вдове Екатерине Андреевне: «Все уроки земной мудрости, всё, что есть на земле прекрасного, соединяется в горестно-возвышенном чувстве: он был! Видишь перед собой прекрасную чистую жизнь и утешаешься, возвышаешь себя мыслью, что такая жизнь на земле возможна».

...На плите памятника в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга два имени: Николай Михайлович и Екатерина Андреевна Карамзины.



КРЫЛОВ  
Иван Андреевич  
(1769 — 1844)

## Загадка русского Эзопа



В начале февраля 1838 года возле громадного дома Дворянского собрания в Санкт-Петербурге толпились зеваки: столичная публика чествовала пятидесятилетие литературной жизни своего кумира Ивана Крылова — 2 (13) февраля ему исполнилось, как тогда считали, семьдесят лет.

Таких юбилеев Россия ещё не знала. В зале собрания, где был накрыт стол, гудело, дробясь и умножаясь, эхо разговоров около трёх сотен приглашенных. На хорах разместились великосветские дамы. Столица устраивала «лукулловский», как вспоминали современники, обед, на стол пошло всё самое лучшее из провизии: свежая зелень и фрукты из царскосельских императорских оранжерей, икра, сёмга, балыки...

Сидевшему в середине стола в окружении министра просвещения графа Уварова, Жуковского, Вяземского, Плетнева, князя Одоевского Крылову был хорошо виден бюст самому себе, увенчанный лавровым венком, уставленный изданиями собственных сочинений. Открывая торжество, Уваров прикрепил на грудь поэта звезду Св. Станислава, поздравил с «Высочайшей милостью».

Жуковский, обращаясь к юбиляру, предложил тост за славу и благоденствие России и за успехи русской словесности: «Наш праздник, на который собрались здесь немногие, есть праздник национальный, когда бы можно было пригласить на него всю Россию, она приняла бы в нём участие с тем самым чувством, которое всех нас в эти минуты оживляет, и Вы, от нас немногих, услышите голос всех своих современников...»

Юбиляр поворачивал к каждому говорившему седую величественную голову, слушал с какой-то внутренней улыбкой, словно сопровождал речь замечаниями «про себя», иногда

в глазах его вспыхивал насмешливый огонёк. Под конец выступлений он не удержался от слёз.

Во время тостов в честь поэта дамы на хорах выкрикивали здравицы, махали платками, бросали вниз букеты цветов и лавровые венки. Один из венков растроганный юбиляр раздал по листику обступившим его...

По следам событий корреспондент журнала «Современник» писал: «Крылов, окружённый многочисленными почитателями своими, в эти минуты занимал каждого как первый из тех талантов, которые создают неисчезающее величие наций. Но что выражало его полувесёлое и полужадумчивое лицо? О в его душе, верно, теснилось всё прошедшее — одно, что не изменяется никогда в своей прелести. Он, верно, проходил мысленно по этому чудному пути, который указало ему тайное провидение, чтобы тёмное, заботам и трудам обречённое дитя увенчано было в старости по единодушному отзыву своего отечества».

А начинался «чудный путь» поэта на южно-уральской окраине империи, хотя родился он, как принято считать, в Москве. По меньшей мере, дважды опахнула его жизнь грозная стихия Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва.

Глава семьи Крыловых Андрей Прохорович был штабс-капитаном правительственных войск, оборонявших от пугачёвцев Яицкий городок (современный г. Уральск). В 1772 году, спасая семью от повстанцев, Андрей Прохорович — помощник коменданта крепости — отправил жену с детьми, в том числе и маленького Ивана, в Оренбург. Встретившись в дороге с пугачёвским разъездом, офицерская жена Мария Алексеевна из опасений мести восставших, по словам очевидца, «спасла малютку Крылова, спрятавши его в корчаге».

В 1833 году Пушкин в работе над материалами к «Истории Пугачёва» записал одно из оренбургских воспоминаний Крылова о том, что «на их двор упало несколько ядер, он помнит голод и то, что за куль муки заплачено было его матерью (и то тихонько) 25 рублей». И летописец осады Оренбурга Петр Иванович Рычков свидетельствует: «Стоимость хлеба увеличилась едва ли не во сто раз». «Так как чин капита-



на в Яицкой крепости был замечен, — продолжает Пушкин (тем более что мужество помощника коменданта расстроило планы нападавших. — *Рег.*), — то найдено было в бумагах Пугачёва в расписании, кого на какой улице повесить, и имя Крыловой с её сыном... После бунта Иван Крылов возвратился в Яицкий городок, где завелась игра в пугачёвщину. Дети разделились на две стороны: городскую и бунтовскую, и драки были значительные. Крылов, как сын капитанский, был предводителем одной стороны...»

Закончив огненную страду Крестьянской войны, Андрей Прохорович оставил военную службу, не дождавшись заслуженных наград. Он получил скромный чин коллежского асессора и место председателя в Тверском губернском магистрате, которое и занимал до своей смерти в 1778 году. Сыну Ивану исполнилось девять лет. Единственным наследством, оставшимся ему от отца, был полуразвалившийся сундук книг, собранных за походную жизнь.

Здесь начинаются вогросы к тайне личности Ивана Крылова: не получив систематического образования, он поражал воображение современников глубиной и разносторонностью знаний.

Учился Иван Крылов везде, где только мог: русской грамоте, арифметике и молитвам — дома и с детьми сослуживца своего отца, французскому языку — у гувернёра тверского губернатора и самостоятельно с помощью матери, которую он называл «почти гениальной женщиной», «первой радостью, первым счастьем моей жизни». Умная и деятельная, Мария Алексеевна, простая женщина, с детства приохотила сына к чтению: в доме всегда были духовные и исторические книги, словари. С возрастом чтение для него сделалось главной страстью.

Проницательный Пушкин подметил эту черту личности Крылова: предводитель. Поражает его раннее повзросление, объяснимое разве лишь рождением в эпоху социальных катастроф. Вот он, ещё мальчик — уже подканцелярист в Калязинском земском суде, а вскоре — в Тверском магистрате, вот в свои четырнадцать (!) в Казённой палате столицы, куда переехали они с матерью в 1783 году. Каждую свободную минуту

он отдаёт самообразованию: здесь и игра на скрипке, и чтение французских и итальянских книг, Новиковских журналов «Трутень» и «Живописец» — как-то сами собой они сделались настольными.

А тогда, в Твери, он полюбил шумные торговые площади — там можно потолкаться среди пёстрой толпы, жадно вслушиваясь в ядрёный людской говор, часами просиживал на берегу Волги, рядом с плотами, с которых стирали белье языкастые прачки — вот уж кто с лихвой пополнял его словарный запас! Разноязыкий, радующий и пугающий, часто непонятный мир стучался в юную душу, задавал вопросы и требовал ответов. Кто знает, не у бойких ли прачек подслушал пятнадцатилетний Крылов сюжет комической оперы «Кофейница» в трёх действиях — первой из дошедших до нас? А может быть, тема оперы увидена в журнале «Живописец», лет за десять до того поместившем морализаторский очерк об общественном вреде гадательниц на кофейной гуще? Но нет, сам автор спустя много лет вспоминал о том, что в «Кофейнице» «нравы эпохи верны: я списывал с натуры». Правда, «куплеты» оперы, которыми перемежался прозаический текст, как небо от земли, далеки ещё от народной чеканности, насыщенной экономии слова его будущих басен.

К их общей с матерью радости юный автор получил за рукопись «Кофейницы» от мецената Брейткопфа вместо 60 рублей ассигнациями (немалые деньги!) книги великих французских, законодателей вкуса Расина, Мольера, Буало.

К 1785 году относят его трагедию «Клеопатра», напечатанную в журнале «Российский феатр» (театр. — В. К.), исчезнувшей даже из памяти современников. «В молодости моей, — говорил сам Крылов, — я всё писал, что ни попало, была бы только бумага да чернила...»

В позднейших воспоминаниях современники — особенно преуспел здесь Ф. Ф. Вигель — не находили в Крылове «душевного жара, священного огня», зато видели «чрезмерное самолюбие», «ум без чувства». Лучший исторический адвокат поэта — он сам. В 1792 году в издаваемом им «с товарищи» журнале «Зритель» двадцатитрехлетний Крылов опубликовал среди прочих своих статей «Рассуждение о дружестве». Уже

своим началом это был восторженный гимн дружбе: «Во всех временах дружество почитали из числа первых благ в жизни. Сие чувство родится вместе с нами; первое движение сердца состоит в том, чтобы соединиться с другим сердцем, и между тем целый свет жалуется, что нет друзей».

Вспомним знаменитую «Дорогу жизни» юного современника Крылова Евгения Баратынского:

*В дорогу жизни снаряжая  
Своих сынов, безумцев нас,  
Снов золотых судьба благая  
Даёт известный нам запас:  
Нас быстро годы почтовые  
С корчмы довозят до корчмы,  
И снами теми путевые  
Прогоня жизни платим мы.*

Спасительная маска равнодушия, замеченная мемуаристами, явилась, надо думать, не по воле поэта — сказался богатейший охлаждающий опыт жизни, завершивший «золотые сны» юности.

О способности к сильному чувству, о цельности характера поэта говорит оставшаяся загадкой для современников история его единственной любви к «деревенской жительнице Аннете». По одному из преданий, к Анне Алексеевне Константиновой — племяннице родственника Михаила Васильевича Ломоносова.

Ко времени знакомства Крылова с Анной Алексеевной ей было около пятнадцати лет. Она была красавицей, родители тщеславились родством с русским гением и отказали сделавшему ей предложение бедному, неизвестному литератору. Крылов уехал в Петербург, а «невеста на час» начала, по её собственным словам, таять, как воск. Только из опасений за её жизнь родные согласились всё-таки на этот неравный, по их мнению, брак. Трудно сказать, что именно: оскорблённая ли гордость, так и не простившая тщеславия родителей невесты, или действительная бедность стали причиной странноватого письма Крылова, в котором тот из-за невозможности самому приехать в Брянск просил привезти невесту в столицу

на свадьбу. Теперь уже оскорбились родители Анны, и это стало приговором для жениха и невесты. Но не для их чувств друг к другу. Крылов, излив душу в стихах к Аннете, до конца дней остался холостяком. И Анна, отказавшись от блестящих партий, дожила девицей до глубокой старости...

Пожалуй, ни один из русских писателей не был так окружен мифами, как Крылов. Нет, не выдерживает критики миф о равнодушном сердце Крылова. Глубоко потрясла его дуэль Пушкина, бывшего у Крылова за день или два до того. Он восклицал: «Если бы я мог это предвидеть, Пушкин! Я запер бы тебя в моём кабинете, я связал бы тебя верёвками... Если бы я это знал!». Вместе с Жуковским он был среди тех, кто несли гроб с телом поэта.

В этой, по словам Пушкина, «преоригинальной туше» была взрывной темперамент: чего стоит его письмо к театральному недругу, вчерашнему благодетелю, всесильному вельможе директору Горной экспедиции Соймонову. Двусмысленность письма беспримерна по холодному бешенству, прикрытому фиговым листком подобострастия: «И последний подлец, который только может быть, Ваше превосходительство, огорчился бы поступками, которые сношу я от театра...» или: «Пусть бранится глупый, Ваше превосходительство, такая брань, как дым, исчезает...». Копии этого и подобного письма автор пустил по рукам.

Сколько неожиданной энергии в его спартанской привычке купаться в канале Летнего сада почти до конца ноября, когда еще неокрепший лёд приходилось проламывать телом. Никогда не носил перчаток: «Я вечно их теряю, да и руки у меня не забнут».

С детства не изменял он своей страсти учиться у всех. С раню обнаружил у себя способность к рисованию. Его рисунки пером под гравюру вводили в заблуждение опытных художников. Безошибочным вкусом обязан он был дружбе с великими живописцами Венециановым и Брюлловым, написавшим с него один из лучших портретов. Крылов, «почтенный вольный общник Академии художеств», принял доброе участие в судьбе художников Павла Федотова и Ивана Айвазовского.

Ещё в детстве научившийся игре на скрипке, Крылов настолько усовершенствовался в ней, что поражал профессиональных музыкантов. Он не брался за сольные исполнения, но отводил душу участием в трио и квартетах столичных виртуозов.

У него была необыкновенная способность к языкам. В детстве изучил французский и немецкий (первого, правда, не любил), в молодости научился итальянскому, на пятьдесят третьем году жизни — английскому, с пятидесяти лет начал читать Библию на греческом языке, за два года прочёл полное собрание греческих классиков и даже перевёл отрывок из «Одиссеи» Гомера. Иногда находили его с Эзопом в руке: «Учусь у него...».

В юности Крылову довелось преподавать русский язык сыновьям князя Голицына. С ними был их родственник, будущий литератор и мемуарист, уже упоминавшийся Вигель, вынужденный сказать правду об этом времени: «И в этом деле показал он (Крылов. — В.К.) себя мастером. Уроки наши проходили почти все в разговорах; он умел возбуждать любопытство, любил вопросы и отвечал на них так же толковито, так же ясно, как писал свои басни». И дальше: «В этом необыкновенном человеке были заложены зародыши всех талантов, всех искусств». Надо быть действительно необыкновенным человеком, сказал кто-то из французских моралистов, чтобы заслужить одобрение своих недоброжелателей.

Была у него ещё одна тайная страсть, вовсе уж непонятная в высшем свете: математика. Недаром ее называют воплощённой музыкой. Что могло влечь к ней поэта: совершенство, оптимизм её непреложных законов? Музыка сфер помогала преодолевать пошлость жизни.

Математика была полной противоположностью невинной слабости: неодолимая сила влекла его к петербургским пожарам. Завораживала неуправляемая стихия огня... Не было ли это смягчённым годами напоминанием о Крестьянской войне из истоков его памяти, страшной войне в далёком, прекрасном, как у всех, детстве на краю России под названием Оренбургский край?

У молодого сатирического драматурга и публициста, неза-

висимого и прямодушного, глубоко видевшего мир, было всё, чтобы глядеть на своих современников без розовых очков. Вот концовка его «Похвальной речи науке убивать время», опубликованной в благонамеренном «Санкт-Петербургском Меркурии», сменившем опальный «Зритель»: «Соединим же нашу ревнивость, милостивые государи! Год уже наступил: уже это время наваливается на наши руки — но ободритесь, — остерегайтесь мыслить, остерегайтесь делать, и год сей будет служить нам оселком, над которым наука убивать время покажет новые опыты, достойные нашего просвещения».

Общество не прощает никому, кто видит его в истинном свете. Крылов скоро это почувствовал на себе. Отголосок его состояния — в его переводе из Библии, где он явно соперничает автору оригинала:

*Тесним от ближних, обесславлен,  
Друзьями презрен и оставлен,  
Средь кровных чуждым я живу...*

Он не мог предполагать именно такого развития драмы своей жизни, ведь недавно ещё советовал читателям «Почты духов», первого своего журнала: «Дабы получить успех в изучении мудрости, надлежит лучше быть зрителем, а не действующим лицом в тех комедиях, которые играютя на земле...»

Ну что же, он будет зрителем... А действующими лицами пусть будут даже не люди — читатели ревнивы к своим портретам, а ... звери, растения, насекомые. Как в баснях Эзопа и Лафонтена. Ведь называют же «русским Лафонтеном» мастера, кажется, всех жанров великого Ивана Дмитриева. Кстати, недавно Дмитриев пришёл в восторг от нескольких переводов из Лафонтена, сделанных Крыловым: «Вы нашли себя. Это истинный ваш род. Продолжайте. Остановитесь на этом литературном жанре».

Если бы знал знаменитый поэт, какой ценой дались переводы, сколько раз Крылов переписывал эти три басни, добиваясь, чтобы каждое слово встало на своё место! С юности тот знал: нужно писать так, как говорит простой народ, «чтоб в коротких словах изъяснена была самая истина... дабы оные

глубже запечатлевались в памяти». Знал, да не всегда мог следовать, как в ранних комических операх. Он почувствовал: теперь он может — слово слушается, доверительно общается с ним.

Свершилось! Его басни «Дуб и Трость», «Разборчивая невеста», «Старик и трое молодых» с лёгкой руки Дмитриева опубликованы в журнале «Московский Зритель» в начале 1806 года. Начиналась басенная эпоха русского гения.

Вернувшись из скитаний по России в Москву, потом в Петербург, Крылов отдал дань первой своей любви — театру. На столичной сцене с шумным успехом прошли комедии «Модная лавка» и «Урок дочкам», героическая опера «Илья Богатырь» с его либретто. Постигающий через язык душу народа, Крылов в новых постановках прославлял народные нравственные ценности, отстаивал Россию от засилья иностранцев, традиционно видевших эту непонятную «варварскую» страну лишь полем колонизации.

И всё же в басне он был свободнее... Нет ничего демократичнее, глубже и совершенней рифмованной русской поговорки — вот к чему должны стремиться его басни!

Он работал по пятнадцать часов в день, отделявая строки, как ювелир отделяет грани самоцвета. В 1808 году он напечатал около двадцати басен, и только в следующем году вышла его первая книга, принесшая неожиданную славу. «Странное дело, — писал один из современников, — мы слышали басню в первый раз, а почти все знали её наизусть». Но это и в самом деле запоминалось сразу: «У сильного всегда бессильный виноват», «Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона», «А ларчик просто открывался», «Слона-то я и не приметил», «А Васька слушает да ест», «Услужливый дурак опаснее врага».

Крылов первым в России стал писать языком, понятным крестьянину и вельможе, народный язык его басен стал литературным языком, неизменно дошедшим до наших дней. Девятилетний Александр Пушкин в это время только осваивал французскую библиотеку отца.

Обманчивая простота и необычная глубина первой книги Крылова поразили его младшего современника поэта Константина Батюшкова: «Этот человек — загадка, и великая!»

И Пушкин через полтора десятилетия после Батюшкова скажет: «Мы не знаем, что такое Крылов — Крылов, который столь же выше Лафонтена, как Державин выше Руссо».

Лучше других знавший его В.А. Оленин писал о Крылове: «...Был скрытен, особенно если замечал, что его разглядывают. Тут же он замолкал, никакого не было выражения на его лице, и он казался засыпающим львом». У него была своя «драматургия жизни», он насыщал ею званые обеды в свою честь. На одном из таких обедов общий разговор зашёл об одном известном журналисте, общее мнение о котором остановилось на том, что автор человек очень умный, хотя ум у него парадоксальный.

- Вот вы говорите: умный, — сказал Крылов, на которого никто не обращал внимания, полагая, что он спит, — умный. Да ум-то у него дурацкий.

Преподобный старец Амвросий Оптинский (1812—1891) нередко просил своих посетителей прочитать одну-две басни из книги басен Крылова, всегда лежащей под руками.

В 1877 году преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) писал одной из своих духовных чад: «Вспомни молодого коня Крылова: не только других, но и себя-то не мог понимать. А как начало подталкивать делом-то — то в бок, то в зад, — ну и показал сноровку, за которую и заплатились хозяйские горшки». Молодой конь из басни «Обоз», видя, как старая лошадь с возом осторожно спускается с горы, похвастался, что он так «маханет», что «минуты не потратит». Помчался быстро вниз, а воз раскатился и стал на него напирать, сбивать с бегов, а потом и вовсе опрокинулся в овраг, где и горшки разбились и сам конь погиб.

Главной творческой тайной Крылова стало, по определению Гоголя, то, что «предмет, как бы не имея словесной оболочки, выступает сам собою, натурою перед глаза». Тайну же его личности прозорливо увидел Тургенев: «... Крылов всю свою жизнь был типичнейшим русским человеком; его образ мышления, взгляды, чувства и все его писания были истинно русскими, и можно сказать без всякого преувеличения, что иностранец, основательно изучивший басни Крылова, будет иметь более ясное представление о русском национальном ха



рактере, чем если прочтает множество сочинений, трактующих об этом предмете...».

Чтобы лишить народ исторического будущего, нужно так или иначе лишить его «зрячего прошлого» — накоплений исторического и культурного опыта. Именно ещё и поэтому нам рано списывать в архив феноменальное явление Ивана Крылова — следом наступит очередь самого породившего его народа. Кстати, из своего далека он шлёт нам философское предупреждение — образы то ли прошлого, то ли грядущего. Грозная стихия народной смуты, потрясшая когда-то детское воображение будущего поэта, отозвалась в его баснях «Безбожники» и «Конь и Всадник». В первой воспроизведена эпическая картина восстания: «Мятежные толпы, за тысячью знамен, кто с луком, кто с пращой, шумя, несутся в поле» и то, как брошенные в богов «туча стрел» и «тьма камней» падают на мятежные же головы восставших. Вторая басня завершается выводом, справедливым на все времена: «Как ни приманчива свобода, но для народа не меньше гибельна она, когда разумная ей мера не дана».

Земная жизнь Ивана Андреевича Крылова закончилась 9 (21) ноября 1844 года. При всех гастрономических пристрастиях умер он не «от обжорства», как радуются пошляки всех времен, а от воспаления лёгких, о чем говорит свидетельство, подписанное доктором медицины Ф. Галлером.

Над гробом баснописца в Исаакиевском соборе при огромном стечении народа совершились литии и панихиды, оттуда его перенесли в Александро-Невскую лавру, где после литургии отпевание покойного совершили владыка Антоний, митрополит Санкт-Петербургский, Новгородский, Эстляндский и Финляндский, викарный епископ Иустин и владыка Афанасий, епископ Винницкий. Здесь его и похоронили, рядом с могилами Карамзина и Гнедича — друга его последних лет.

Слово же его басен «вернулось на круги своя» — перешло в пословицы и поговорки.



## ЖУКОВСКИЙ

Василий Андреевич

(1783 — 1852)

## «Одухотворив русскую поэзию...»



В истории русской литературы Жуковский — явление необычайное. Как Державин и Крылов, он стоял у истоков не только национальной поэзии, но и русского литературного языка, он не только одушевил поэзию тончайшим внутренним миром мысли и чувства, но и обозначил нравственные искания личности: Бога в душе, границ добра и зла, гармонии природы, общественного долга, гражданственности, патриотизма...

Но памятник Жуковскому не только в этом — он навсегда останется «старшим братом» и другом-наставником, своеобразной литературной Ариной Родионовной для русской славы — Александра Пушкина. Запись в лицейском дневнике Пушкина в ноябре 1815 г.: «Жуковский дарит мне свои стихотворения». Великий Жуковский — неизвестному лицеисту... Разгадка проста. В том же году автор баллады «Светлана», с восторгом встреченной современниками, делится необычайной для него радостью с другом-поэтом Петром Вяземским: «Я сделал ещё приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем Пушкиным... нам всем надо соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастёт». Напомним: Пушкин младше Жуковского на шестнадцать, Вяземского — на семь лет.

«В борениях с трудностью силач необычайный», — так дважды в письмах повторит зрелый Пушкин, имея в виду Жуковского — поэтическую «кормилицу нашу», по его определению. Шутливым прозвищем Жуковского в дружеском обществе «Арзамас» было «Светлана» — не только по одноименной балладе, но и по светоносности самой личности поэта.

Василий Андреевич Жуковский родился 29 января (9 февраля) 1783 года в селе Мишенском Белевского уезда Тульской губернии. Отцом его был помещик Афанасий Иванович Бу-

нин, к древнему дворянскому роду которого принадлежал и русский писатель Иван Алексеевич Бунин, матерью — пленная турчанка Сальха (в крещении Елизавета Дементьевна Турчанинова) — нянька и экономка в семье Буниных. Чтобы спасти новорождённого от участи изгоя, его усыновил крёстный отец, «приживальщик» Буниных, мелкопоместный дворянин Андрей Жуковский.

По обычаю тех лет для получения дворянства мальчика зачислили на военную службу, и в шесть лет (!) он был произведён в прапорщики — необходимый для табели о рангах низший чин.

Первого его учителя — немца Якима Ивановича — изгнали из дома Буниных за невежество и жестокость, самого же девятилетнего ученика отчислили из Главного народного училища в Туле — «за неспособность». Вечная история с одарёнными детьми!

Домашнее образование воспитанника Буниных взяла на себя его сводная сестра и крёстная мать В. А. Юшкова. В её доме будущий поэт нашёл то, о чём только мог мечтать: живую непринужденную атмосферу культурных интересов, не чуждую литературного творчества.

Образование своё он продолжил в Благородном пансионе при Московском университете: он изучает русскую и всемирную историю, древности, право, языки, «словесность» и «сочинения» с поощрением самостоятельного творчества, принимает участие в издании университетского альманаха «Утренняя заря». Закончил он пансион в конце 1800 года с серебряной медалью. Наиболее серьёзный его творческий опыт, перевод элегии английского поэта Грея «Сельское кладбище» (1802), публикуется в лучшем по тем временам русском журнале — карамзинском «Вестнике Европы», через несколько лет он сам станет его редактором. В 1800—1810 годах Жуковский — признанный, популярный поэт, непреходящий участник дружеских сходок «Арзамаса».

Жуковский привнёс не только в лирику, но и в эпос личное переживание, у него и природа «заговорила языком человеческих состояний». Многие из его стихов положены на музыку. Опубликовано им в конце 1807 года в «Вестнике Европы»

стихотворение «Песня» с подзаголовком «перевод с французского» можно назвать одним из первых русских романсов, не отправленных временем в свои запасники:

*Когда я был любим, в восторгах, в наслажденье,  
Как сон пленительный, вся жизнь моя текла.  
Но я тобой забыт, — где счастья привиденье?  
Ах! счастьем моим любовь твоя была!*

*Когда я был любим, тобою вдохновенный,  
Я пел, моя душа хвалою твоей жила.  
Но я тобой забыт, погиб мой дар мгновенный:  
Ах! гением моим любовь твоя была!*

*Когда я был любим, дары благодеянья  
В обитель нищеты рука моя несла.  
Но я тобой забыт, нет в сердце состраданья!  
Ах! благостью моей любовь твоя была!*

В военных действиях Отечественной войны 1812 года Жуковскому, поручику московского ополчения, не довелось участвовать из-за длительной болезни. И всё же — чего не смог увидеть поручик, увидел поэт Жуковский. Его впечатления от близкой Бородинской битвы, от осознания общенародного патриотического подъёма отразились в стихотворении «Певец во стане русских воинов». Патриотизм в нём впервые в русской поэзии спустился с заоблачных высот и предстал душевным переживанием:

*Отчизне кубок сей, грузья!  
Страна, где мы впервые  
Вкусили сладость бытия,  
Поля, холмы родные.*

*Родного неба милый свет,  
Знакомые потоки,  
Златые игры первых лет  
И первых лет уроки,*

*Что вашу прелесть заменит?  
О родина святая,  
Какое сердце не грозит,  
Тебя благословляя?*

В доме своей сестры по отцу Екатерины Афанасьевны Протасовой, урождённой Буниной, Жуковский был учителем двух её дочерей, своих племянниц, старшую из которых, Марию, полюбил — не без взаимности. Православная этика прещает подобные браки, и мать Маши со всей страстностью своей натуры запретила обоим встречи. Уходя в ополчение Жуковский напрасно просил руки Маши.

Страшный для России год нашествия Наполеона принёс поэту и другие потери: почти одновременно умерли его родная и приёмная матери — турчанка Сальха и Мария Григорьевна Бунина...

Когда муж младшей сестры Марии Протасовой, Александр, стал профессором Дерптского университета, всё семейство Протасовых-Воейковых переехало в Дерпт (г. Тарту). Вскоре за ними последовал и Жуковский, чтобы хоть изредка, на правах родственника, видаться с Марией Андреевной. Живя через стену, они могли лишь переписываться друг с другом.

Обстановка в доме накалялась. Жуковский решил уехать из Дерпта, приняв «приглашение ко двору», сделанное императрицей Марией Фёдоровной после прочтения его стихотворений «Певец во стане русских воинов» и «Послание к императору Александру I, спасителю народов».

В последнем письме к Марии Андреевне поэт даёт волю чувству: «...Я никогда не забуду, что всем тем счастьем, которым имею в жизни, обязан тебе, что ты давала лучшие намерения, что всё лучшее во мне было соединено с привязанностью к тебе, что наконец тебе же я был обязан самым прекрасным движением сердца... Всё в жизни к прекрасному средство!..».

Освобождаясь от невыносимой опеки матери, от подчинённого положения в доме Воейкова, Мария Андреевна как в прорубь, «бросилась в брак» с профессором медицины Мойером, человеком рациональным и даже прекраснодушным, признающим её право на чистое чувство к Жуковскому. Мужу она мысленно признавалась: «Я счастлива, видя тебя довольным; позволь же мне быть печальной».

Всё для Марии Андреевны сосредоточилось в переписке с любимым: «...Друг мой, тебе обязана прошедшим и настоя...

щим хорошим, и если заслужу когда-нибудь награду в том мире, то твоя же вина. Ты не можешь вообразить, как ты мне бесценен...», «...я пишу тебе верно два раза в неделю, но в минуту разума деру письма... Если в моих эпистолах тебе что не понравится, то не бранись и не задумывайся об этом; думай просто, что это последний отголосок в старину вами избалованного сердца, которое всё еще плачет о своих игрушках... Пиши только иногда, ангел! ты мне этим должен! Ты там узнаешь, что ты дашь мне — рай или ад. Душенька, не рассердись за это письмо! крепилась, крепилась, да и прорвалась, как дурная плотина, вода и бушует, не остановишь!»...

Литературное творчество питалось подземными токами жизни. В 1817 году вышли его стихотворения, за которые Жуковский высочайше пожалован пожизненной пенсией в 4000 рублей, по тем временам значительной. Поэт становится душой созданного в 1815 году литературного общества «Арзамас», куда вскоре за стихотворцем-дядей В. Л. Пушкиным придёт его великий племянник. В шутовом «арзамасском» творчестве Жуковского находил выход его дар весёлости, тем более безудержной, чем меньше поводов давала для этого жёсткая действительность.

Главной мишенью «Арзамаса» была деятельность общества «Беседа любителей русского слова», возглавляемого писателем, адмиралом, президентом Российской академии А. С. Шишковым. «Шишковисты» брали на себя часто неблагодарный и порой самопародийный труд ограждать жизнь и литературу от новых веяний. «Арзамасцы» не упускали возможностей ответить остроумной шуткой или пародией на «паковость Беседы». Впрочем, спустя почти полвека, размышляя о славянофильстве Шишкова, устами своего персонажа («Разговор в Подмосковной») А.С. Хомяков напоминал, что «Грибоедов считал себя учеником Шишкова, что Гоголь и Пушкин ценили его заслуги, что сам Карамзин отдал ему впоследствии справедливость и что самый русский по языку из всех русских прозаиков (С.Т. Аксаков. — В.К.) вышел, по собственному признанию, из школы Шишкова».

Но в русской литературе Жуковский остался, в основном, автором баллад — сюжетных стихотворений с преобладани-

ем «чудесного», «таинственного», иррационального. Переводя главным образом из немецких поэтов, Жуковский сообщал переводам такую индивидуальную неповторимость, что персонажи иноязычного мира становились нарицательными, близкими и понятными для русского читателя. Например, перевод английского гимна «Боже, храни короля» как молитва русского народа «Боже, царя храни» звучал в России до отречения Николая II в 1917 году.

Можно лишь попытаться предположить, чем для него, непряжённого мистического романтика, стремившегося «жить как пишешь», стала потеря самого дорогого. Его «тихий ангел», его Маша, Мария Андреевна Мойер, «страдавшая грудью», в 1823 году умерла от вторых родов.

Европейски образованного поэта, человека внимательно, добродушного, глубокий ум и остроумие которого смягчались чувством такта, Жуковского заметили при дворе ещё после его «Певца во стане русских воинов». Бывший чтецом при императрице Марии Фёдоровне, в 1817 году он стал учителем русского языка у великой княжны Александры Фёдоровны, жены великого князя Николая Павловича, будущего Николая I. С его воцарением поэту, одному из идеологов монархизма, в 1826 году предложили возглавить обучение наследника будущего Александра II.

«Самодержавие, — писал Жуковский, — высшая форма правления, если оно соответствует смыслу своего слова. Сам держу и самого себя держу». В подготовленной им хрестоматии для наследника он даёт своеобразное наставление царям: «Уважай закон и научи уважать его своим примером; люби и распространяй просвещение; уважай общественное мнение; люби свободу, то есть уважай и личную безопасность, и право мысли каждого; владычествуй не силой, а порядком; исправляй, не разрушая...». Эти правила, воплощённые в государстве, и сегодня сделали бы честь любому правительству.

В письме к Александре Фёдоровне у поэта хватило мужества поставить главные вопросы своего времени: «Когда же мы будем с уважением рассматривать то, что составляет истинные нужды народа, — законы, просвещение, пра-



вы?». Николай I выговаривал Жуковскому, что его «называют главой партии, защитником всех тех, кто только худ с правительством».

По словам поэта Вяземского, Жуковский был «представителем русской образованности перед тронем безграмотным» — отстаивал перед царем А. И. Герцена, помогал поэту Алексею Кольцову; с его участием выкупили из неволи Тараса Шевченко. Как опытный царедворец, знающий мстительный характер Николая I, Жуковский вмешался в попытку Пушкина освободиться от оскорбляющих его камер-юнкерских обязанностей при дворе — он убедил поэта забрать просьбу об отставке. По просьбе семьи Гончаровых, не говоря уже о велениях дружбы, Жуковский выступил посредником в переговорах между Пушкиным и приёмным отцом Дантеса — нидерландским посланником Геккереном. Главной целью было — во что бы то ни стало не допустить поединка.

После смерти Пушкина Жуковский взял на себя все заботы о его семье и его рукописях.

Летом 1837 года, сопровождая наследника в его путешествии по России и Западной Европе, Жуковский проехал по необозримым просторам Оренбургской губернии — южной окраине Российского государства. От тех дней в архиве поэта остались лишь отрывистые дневниковые записи «для памяти», опубликованные в журнале «Русская старина» за 1902 год, и пейзажные зарисовки, — как многие русские писатели, Жуковский был хорошим рисовальщиком.

Оренбургский краевед, заслуженный учитель России М. М. Чумаков подсчитал: за время путешествия в свите наследника Жуковский сделал 176 графических зарисовок увиденных мест, 37 из них посвятил Уралу и Оренбургскому краю. Теперь эти зарисовки и короткие назывные фразы дневника приобрели значение, выходящее далеко за рамки этнографии.

На пути из Сибири экспедиция достигла верховьев Урала и через казачьи крепости и станицы двинулась на юг. Вот запись от 10 июня (старого стиля): «Переезд из Верхнеуральска. Начало степи. Конвой. Спасская крепость. Прекрасное впечатление степи: необъятность, зелень, по всему пространству

пение птиц. Облака. Пост сторожевой. Инвалидные (старо-служачие. — В.К.) казаки. Магнитная станица (ныне г. Магнитогорск. — В.К.). Слева отдельные горы за Уралом. Справа за горизонтом голубая гряда гор. Вероятно, Губерлинские горы в большом отдалении; дорога ровная, усыпанная мелким хрящом (песком с галькой. — В.К.). Два ряда кольев. Степь прерываемая возвышениями, покрытыми травой. В одном месте к голым горам примкнуто несколько прекрасных берёзовых рощ. Огромный камень посреди равнины, на вершине погребенной горы... Обедали в Сыртинской с ужасным množеством мух. Ночевали в Таналыкской (ныне дно Таналыкского залива Ириклинского водохранилища. — В.К.) с великим množеством тараканов».

— На следующий день: «Переезд из Таналыкской до Ильинской... Кочевья киргизских пастухов. Обедали в Орской крепости. Партия казаков. Дорога вся в порядке... Между Хабарской и Губерлинской как будто в малом виде большие горы со всеми их деталями. Но ни куста, ни капли воды. Всё покрыто ковылём и пусто. Взволновавшаяся и окаменевшая пустыня. Чудный вид с высокого пункта, который я срисовал».

Перед рекой Губерлей дорога нырнула в небольшое ущелье, и путешественников приветила ледяная вода родника, собирающего влагу из трещин скалистого обрыва.

Такого поезда — восемь шестиконных экипажей и три тройки — эти места ещё не видали, хотя летом 1769 года родник «поил» проезжающего здесь академика Петербургской Академии наук Петра Палласа.

Отдохнувшие, освежённые студёной водой, путешественники, выезжая из ущелья, вряд ли думали о том, что отныне родник этот будет называться Царским, это же название получает и питаемый им ручей, через три версты впадающий в реку Губерлю.

Жители бывшей станицы Ильинской до сих пор показывают проезжающим «царскую дорогу». Путь здесь сжимается между почти отвесной стеной с выходами горных пород — и вытянутым озером. Место это получило название «Перила». Перед приездом державных гостей местные власти обследовали дорогу и нашли её опасной: лошади могли понести и

опрокинуть экипажи в воду. Так появилась каменная стена — «перила» полутораметровой высоты. Время и люди оставили от неё лишь отдельные камни... «По камешку» растаскивается история...

Продолжение записи 11 июня: «переезд из Верхнеозерной в Оренбург. Крутой спуск при выезде. Степь ровная, но более плодородная, разнообразие трав... Прекрасная дорога по крутому берегу Урала. Приезд в Оренбург в три часа пополудни: тотчас с Далем на берег. Роща за Уралом...».

Можно уверенно предположить, что главной темой их бесед — патриарха русской поэзии и будущего великого лексикографа — была общая боль — Пушкин.

Живущий на широкую ногу военный губернатор Перовский сделал всё, чтобы поразить воображение необыкновенных гостей. 13 июня Жуковский занёс в свой дневник детали экзотических представлений, устроенных в их честь: «...После обеда азиатский праздник. Киргизское кочевье (кибитка) ... Скачки вокруг холма. Скакали лошади некованные и некормленные... Скачки на верблюдах. Пляска башкирская. Борьба башкир с киргизами. Музыка башкирская. Музыкант: курайчи; инструмент: курай — или чебызга. Юрлаучи — певец. Баксы или колдун киргизский; змеи, прыганье на саблю. Исступление. Чай в кибитке. Театр в галерее. Возвращение домой и разговор с Далем».

Заметки от 15 и 16 июня напоминают о переезде в Уральск, входивший тогда в Оренбургскую губернию. Дальше: «17 июня. Переезд из Уральска в Бузулук... Дорога прекрасная. Дождь. Холодный день. Степь сменяется небольшими возвышенностями. Бузулук — бедный город с большой площадью, на которой находятся полуразрушенные присутственные места... Удвоенное население уезда от переселенцев, коих состояние бедственное».

О пути из Бузулука: «Приятная дорога. Богатые поляны, зелёные горы. Дубы и берёзы. Сурковые бугры... Обед в Бугуруслане. Живописное местоположение на полугоре на берегу Кинеля...».

Кроме этих записей и нескольких десятков рисунков, не осталось художественного отображения увиденного и почувствованного поэтом в Оренбургском крае. Но и эти ментальные наброски говорят о силе впечатлений от вольных



**АКСАКОВ**  
**Сергей Тимофеевич**  
**(1791 – 1859)**

## «Ухожу я в мир природы...»



### *Попытка хроники одного возрождения*

Бывает: далеко от замусоренного и загазованного шоссе, от разрушающих слух индустриальных шумов набредёшь на блистающую клейкими листьями берёзовую рощицу, на ещё нехоженую в эту весну полянку, сладко рухнешь наземь, навзничь на яркую траву, дашь солнечным пятнам вольно скользить по лицу... И эта полянка с первобытно-прекрасным дыханием молодой травы и листьев, с тенями, лёгким ветром и высокими облаками вдруг покажется тебе образом творчества Аксакова.

Нет в России другого писателя, так полно и мощно, так язычески связанного с природой. Может быть, прошлое, зреющая будущая, готовило нам его слово, как надежду на спасение. И если его современники не расслышали в гармонии его искусства диссонансов, вносимых человеком — «заклятым и торжествующим изменителем лица природы», это нужно учиться делать нам, — пока не поздно.

В 1791 году в губернском городе Уфе 20 сентября (1 октября по новому стилю) в семье прокурора Верхнего земского суда Тимофея Степановича Аксакова и дочери помощника оренбургского наместника Марии Николаевны Зубовой родился будущий автор выдающихся в русской и мировой литературе книг «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова внука». Семейный герб старинного дворянского рода Аксаковых на взгляд из XXI века может показаться наивно-сентиментальным: сердце, пронзённое стрелой. Однако надо сказать, он смотрится довольно точной метафорой образа самого писателя с его внешне добродушной неторопливостью и «нервически-пылкой», по словам Гоголя, натурой. На этом аналогии не кончаются, вспомним этот герб, — мы ещё вернёмся к нему.

Детство, отрочество и первые годы после женитьбы

С.Т. Аксакова прошли в Оренбургской губернии, в родовом имении Знаменское к северу от города Бугуруслана, «в двадцати пяти верстах от него». В его уже названных автобиографических повестях это село Багрово. Ныне оно носит имя всемирно прославившего его писателя.

Аксаковские места в Оренбуржье — это речка Большой Бугуруслан (ныне больше напоминающая ручей. — В.К.), протекающая по усадебному саду с мемориальными остатками Липовой аллеи, древних сосен и ветел, современных писателю; это виды на окрестные холмы или «горы», как в его прозе, это бурное весенне-летнее разнотравье, словно глядящее на тебя мимолетным жестом глаз-цветов, это облака, плывущие над бугурусланской долиной. Здесь подрастал, волновался избытком бытия будущий художник слова.

Главнейшим героем его книг: и первых, очерковых: «Записки об ужении рыбы» (1847), «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852), и более поздних художественных видится природа. Не на её фоне, а в ней самой, девственно роскошной, почти ещё не тронутой человеком — хищным преобразователем мира с его культом «временных выгод» разворачивает писатель картины провинциально-дворянской жизни России второй половины XVIII — начала XIX веков.

В один из эпиграфов ко второму изданию своих «Записок об ужении рыбы» автор ввёл отрывок из послания к другу — к эту М.А. Дмитриеву:

*Ухожу я в мир природы,  
Мир спокойствия, свободы,  
В царство рыб и куликов,  
На свои родные воды,  
На простор степных лугов,  
В тень прохладную лесов  
И — в свои младые годы!*

Здесь предельно ясно выражены эстетическая и этическая программы классика русской литературы. Начало жизни личности как источник целостности и гармонии мира... Может быть, впервые в России С.Т. Аксаков выступил как художник органического соответствия «младых лет» человеческих вечности «миру природы».

«Жизнь подобна игрищам, — сказал философ и математик Пифагор, — иные приходят на них состязаться, иные — торговать, а самые счастливые — смотреть». Счастливому случаю, судьбе ли обязан писатель тем, что именно «обетованный» Оренбургский край, где с XVIII века «кипел народный котёл» переселенцев двадцати российских губерний, стал его творческой лабораторией. Здесь, с удочкой или ружьем, на приусадебном пруду или в окрестных полях и лесах вынашивал он свое миропонимание дальнего прицела.

Своей литературной судьбой С. Т. Аксаков не похож, пожалуй, ни на кого из отечественных писателей. Учёба в гимназии и только что открытом университете в Казани, жизнь и служба в Москве и Петербурге с отъездами на несколько лет в оренбургскую деревню... Знакомство с великим Державиным в последний год его жизни, знакомство с Пушкиным, участие в литературой борьбе за его имя, театральная критика, общественная жизнь большой его семьи, открытой, кажется, всем направлениям, объединяющая личной дружбой даже непримиримых западников и славянофилов.

Художественно «спохватиться» помог совет Гоголя в 1847 году: «Если бы вы стали диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни вашей и встречи со всеми людьми... с верными описаниями характеров их, вы бы усладили много этим последние дни ваши, а между тем доставили бы детям своим много полезных в жизни уроков, а всем соотечественникам лучшее познание русского человека».

Слово «диктовать» здесь не случайно: с середины 1846 года С. Т. Аксаков почти ослеп: «Левым глазом я не вижу и солнца, а правым гляжу сквозь сетку пятен... и ключев...». Взявшись диктовать домашним страницы «Записок», он всматривался в пережитое уже внутренним зрением, тем более отчётливым, чем менее непосредственно мог видеть мир, который так любил.

О чём бы ни сообщал он в «Записках», всё словно погружено у него в дымку поэзии. Нередко эта чисто аксаковская дымка сгущается до миниатюрных шедевров поэзии в прозе, как, например, в главе «О выборе места»: «Я должен признаться, что пристрастен к запруженной реке. Вид пруда и мельницы, стук её снастей, шум падающей воды — приводит в тихое и сладкое волнение душу старого рыбака. Чем-то дорогим, прошедшим

чатки будущего русского романа» увидел в прозе Аксакова Тургенев. Ему вторит Достоевский: «В воспоминаниях Сергея Аксакова звучит несравненно больше правды народной, чем в Некрасове, хотя Аксаков говорит почти только о природе русской».

Действительно, природа у Аксакова не только место действия, но и само «действующее лицо» его хроник как отражение личности рассказчика. Здесь не обошлось без уроков древнерусской эстетической школы «Слова о полку Игореве», где одушевленная природа прямо участвует в событиях.

Классика всегда современна, она подготавливает будущее и растёт вместе с ним. В 1950 году М.М. Пришвин записал в своём «Дневнике»: «Читаю глубоким чтением Аксакова, и мне открывается в этой книге жизнь моя собственная. Вот счастливый писатель! И рядом: «Аксаков — это наш Гомер».

Диалогия Аксакова подтвердила его верность своей «авторской тайне»: отсутствию художественного вымысла. Аксаковским образам с их непреходящим очарованием «тайна» эта сообщает актуальнейшую ценность экологических эталонов неостановимо «убывающей» сегодня природы.

Кроме того, настало время говорить не только об экологии живого мира, но и об экологии наших чувствований — самой способности воспринимать этот мир. В своеобразной «Красной книге» нуждается аксаковская щедрость, беспредельность восприятия жизни в её красках, звуках, глубине представлений. И здесь книги Аксакова — как постоянно действующий заповедник обострённо-гармоничных, если можно так, отношений человека и мира.

Далеко не случаен поэтому интерес читателей многих поколений к первооснове его образов — «уголку обетованному», как называл эти места писатель. Здесь на чернозёмном берегу такой же «быстрой», но уже далеко не «глубокой» речки стоял дом его деда по отцовской линии, переселившегося сюда вместе с крепостными крестьянами из Симбирской губернии. Это в его стенах, сложенных из сосновых брусьев, привезённых из Бузулукского бора, разыгрывались драмы трёх поколений Багровых. С ним, этим домом, связан восторг поэзии открытия мира юным Серёжей Багровым. Дом, каждая комната, каждая вещь которого оказались как бы в фокусе любви и искусства, «прописан» не только в сознании отечественно-



го читателя, но и в мировой литературе. В Англии, например, книги Аксакова попали в бестселлеры.

«Семейную хронику» писатель закончил обращением к действующим лицам, которое звучит для их памяти «охранной грамотой», а для нас, их дальних потомков, духовным заветом: «Вы не великие герои, не громкие личности; в тишине и безвестности прошли вы своё земное поприще и давно, очень давно его оставили; но вы были люди, и ваша внешняя и внутренняя жизнь так же исполнена поэзии, так же любопытна и поучительна для нас, как мы и наша жизнь, в свою очередь, будем любопытны и поучительны для потомков... Да не оскорбится же никогда память ваша никаким пристрастным судом, никаким легкомысленным словом!».

Увы, всей самоубийственной практикой двадцатого века потомки доказали, что жизнь предшественников может быть и не любопытна, и не поучительна, а скорый суд настолько же пристрастен, насколько легкомыслен. Аксаковский дом, переживший катастрофические двадцатые, тридцатые и сороковые годы прошлого века, назначенный к капитальному ремонту в начале пятидесятых, не устоял в шестьдесят втором году. Идеологи хрущёвской «оттепели», принёсшей немало бед России, подтвердили, что нельзя отрицать духовное содержание культуры лишь «отчасти». По свидетельству Высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, в Оренбуржье в 1961–1962 годах, в начале советского освоения космоса, были так же, как и аксаковский дом, разрушены Петропавловская и Никольская церкви в Бузулуке и Орске, молитвенный дом в Оренбурге...

Историю восстановления Аксаковских мест можно было бы начать с факта, сообщённого научным сотрудником Оренбургского областного краеведческого музея О. Голованевой (Газ. «Южный Урал», 22 августа 1989 г.): в советские тридцатые годы в газетной заметке озаботились состоянием Аксаковского имения учителя Мордовско-Боклинской школы. В 1937 году их репрессировали, обвинив в желании восстановить помещичью (!) усадьбу. Хорошо бы назвать имена этих подлинных подвижников культуры (как и их гонителей!), посвятить им мемориальную страничку в одной из экспозиций Дома-музея С. Т. Аксакова.

Во время Великой Отечественной войны и восстановления народного хозяйства было не до Аксакова, хотя культура в загоне даже в эти годы не была: в моём архиве хранится маленькая — с ладошку, чтобы легко уместиться в кармане солдатской гимнастёрки — книжечка всего на 16 страниц, изданные в 1944 году в Москве Музгизом сотысячным тиражом «Русские народные песни»: тексты с нотами для хора без сопровождения — надо думать, для самодеятельных фронтовых коллективов. Дата её подписания в печать: 3 декабря 1943 года. В это время, хотя коренной перелом в войне уже совершился, под гитлеровской оккупацией оставались Правобережная Украина, Белоруссия, государства Прибалтики, в руинах — освобождённые районы страны...

Оживление внимания к «делам давно минувших дней» связано с возрождением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в 1966 году, организованной им в Новгороде двумя годами позже конференцией «Тысячелетние корни русской культуры». Хотя материалы конференции из-за их остроты удалось опубликовать только четыре года спустя, практические выводы выразились и в уже упомянутом «циркулярном» письме С. В. Михалкова областным писательским организациям о ревизии культурных памятников.

К концу шестидесятых — началу семидесятых можно отнести формирование местного актива подвижников аксаковского возрождения. Это бывший летчик гражданской авиации, поэт А. К. Шиперов и директор музыкальной школы «киношник» Ю. Д. Гришин из Бугуруслана, заслуженные учителя РСФСР Н. Г. Хлебников из с. Грачёвки и М. М. Чумаков из Саракташа, наша землячка — писательница Н. В. Чертова (Москва), заслуженные работники культуры Российской Федерации, журналисты В. Г. Альтов и В. Л. Савельзон, педагог дополнительного образования, краевед Иван Кильдяшев из Оренбурга и другие. Добрым гением практической помощи в аксаковских разысканиях и заботах был на протяжении всей партийной и советской работы, на должности директора Бугурусланского лесхоза и после выхода на пенсию. Особое слово о директоре Аксаковской средней школы А. П. Товпеко, снятом с должности из-за критики в адрес районного начальства за невнимание к усадьбе писателя. В статье «По сле

дам Багрова-внука» И. Кильдяшев пишет: «Ставился вопрос об увольнении его из школы вообще, но за учителя вступились родители учащихся. Андрею Павловичу запретили проводить экскурсии и беседы об Аксакове...»

Словом и делом помогли мемориальным разысканиям старожилы села Аксаково И. В. Ивлев, Г. С. Локтев, П. Х. Афонин, А. Г. Клепикова, П. С. Маркелов, А. И. Моисеева, В. И. Семенова, М. П. Шептухина...

Ко второй половине шестидесятых относится наше знакомство, а потом и дружба с литературным краеведом из Бузулука, преподавателем эстетики Петром Степановичем Филатовым, с начала тридцатых годов неизменным участником литературной жизни страны. В шестидесятые годы после его фанатически настойчивых хождений в горком партии в Бузулуке начинают проводить ежегодные Пушкинские дни. Помню его состояние, когда в городском саду юные варвары изувечили пушкинский бюст. Так можно страдать только от собственной боли...

Не только до первого решения облисполкома «О создании мемориального комплекса писателя Сергея Тимофеевича Аксакова в селе Аксаково Бугурусланского района», принятом 26 мая 1971 года, но и до своей кончины в 1997 году он был «вечным двигателем» идеи восстановления Аксаковских мест. Неотступные напоминания Петра Степановича об Аксакове в нашей переписке 70—80-х годов, каюсь, порой досаждали — и без того хватало отказов из «высоких кабинетов». Но, остыв, всякий раз соглашался: он прав, как всегда право дело культуры.

Привожу одно из десятков его «аксаковских» писем: «1.10.90. Попробую ответить на твою просьбу по поводу музейных предметов С. Т. Аксакова... Побывал в трёх музеях г. Куйбышева (ныне Самары. — В. К.). После этого меня направили в четвёртый — в музей А. Н. Толстого.... Директор музея сообщила, «после 1909 и 1920 годов старый музей разделился на два музея. ...До войны родственница Алексея Толстого Гольстрем, по-моему, это искажённая фамилия отчима А. Толстого. (Отчим А. Н. Толстого — А. А. Бостром. — В. К.) сумела добиться разрешения, чтобы все книги и мебель С. Т. Аксакова, которые передала в музей его внука (Ольга Григорьевна Аксакова, ей посвящены

«Детские годы Багрова-внука». — В.К.), забрать и отправить в Литературный музей Пушкинского Дома.

Но мне помнится разговор: часть вещей из усадьбы Аксакова осталась в Самаре, чуть ли не в кабинетах обкомовских бюрократов.

...Я слышал, слышали Зобов (Ю.С. Зобов, профессор Оренбургского государственного педагогического института. — В.К.) и все, кто присутствовал на Первой Всероссийской Аксаковской конференции в Абрамцево в октябре 1983 года, когда докладчиком Архивного Исторического музея было сказано, что из Самары аксаковская библиотека и мебель отправлены учёным Тихомировым в Пушкинский Дом, но он не указал, когда это было»...

Из своих заметок по следам Аксаковских поездок рискну привести наиболее памятные, отразившие главные психологические узлы этой очень не простой общественно-культурной тяжбы, затянувшейся почти на четыре десятилетия. В этих заметках, опубликованных в местной и центральной печати, так или иначе сохранились настроения и свидетельства тех лет.

## ТРИ ПОЕЗДКИ В АКСАКОВО-ОРЕНБУРГСКОЕ

*«Это был — да и теперь есть —  
уголок обетованный».*

С.Т. Аксаков, «Семейная хроника»

### *Первая летняя поездка в Аксаково 1970 год*

Вот уже неделю я прихожу на твои берега, Бугурусланка... Стою на твоих чернозёмных обрывах, слушаю птичий щебет в Липовой аллее твоего старого сада. Кажется, время замерло в саду, только щебечут птицы в густых кронах и журчит, струится вода по белой гальке перекаатов...

В полудневной жаре дремлет урема, брызгаясь и отряхиваясь, купаются воробьи на галечниковом мелководье, солнечные пятна сквозь акации высвечивают заросли крапивы и лопухов. Длинные ветви акаций переплелись, соединились в глухой коридор, в зелёном сумраке иду, переступая через упавшие ветки, по давно найденной аллее, где из трещин

земли выбивается подорожник. Путь мой лежит к дому Аксаковых, вернее, к месту, где до недавнего времени стоял дом, а теперь белеет вторым этажом Аксаковская средняя школа.

Ещё подъезжая к селу, увидел я возвышающиеся над всем садом сосновые кроны, а теперь они рядом, древние сосны, я прохожу мимо их розоватых стволов, считаю: одна, две, три... семь... и попадаю в густое пространство хвойного озона. Сосны стоят, как последние могики, кажется, что они держатся друг за друга, и — не хочется уходить от их трогательного братства.

Но вот заканчивается заросшая аллея акаций — и прямо перед собой на небольшом пригорке видишь здание школы, и говоришь себе, что ведь совсем недавно, всего восемь лет назад ещё жив был знаменитый дом из сосновых брёвен в обхват, дом, в котором подрастал, набирался степного духа «Аленький цветочек» русской литературы. Дом немного не дожил до своего двухсотлетия.

По мосткам над самой водой перехожу ручей. Это старое отводное русло от давно сгоревшей мельницы. Раньше здесь был «Зелёный мостик», так называют его старожилы, — на высоких сваях, с зелёными перилами.

Далеко впереди над вершинами вётел с тёмными грачиными гнездами рыжеет «крутой и круглый взлобок» Челябинской горы. Иду на неё, между громадных вётел «Грачовой рощи», мимо заросших рыбных «садков», — овальных водоёмов, соединённых когда-то трубами для стока воды. Со дна одного из садков меланхолично глядит телёнок.

Узкая лесная тропинка выводит к плотине пруда. Слушаю шум водосброса, смотрю на далёкие луговые травы, показывающие старые границы воды — велик был пруд! В «золотое время детского счастья» волны пруда напоминали Серёже Аксакову волны на Волге.

И, странное дело, знаешь, что и сад, и пруд — не те, не такие, что полтора века прошло, и многое изменилось, но именно здесь, в этих местах, появляется прозрачное чувство причастности к прошедшему и настоящему. Как будто этот сад и этот пруд таились недостающим звеном в связи времён — и вот оно найдено, и началось великое узнавание...

Когда весть о революции долетела до уезда, Аксаковский дом был уже пуст. И только семь тяжелогружёных подвод тя-

нулись по дороге на Бугуруслан. Это, захватив с собой мебель последних владельцев, уезжал, сбегал с экономкой последний из власть имущих — управляющий земскими мастерскими старик Заварин.

И Дом зажил другой жизнью. Сколько новых людей прошло через его двери, сколько табличек сменилось на его подъезде! Были здесь и «Детская колония» и «Народный суд», и «Военно-политический исполнительный комитет», «Клуб», пока в тридцать пять лет не появилась та, которой суждено было стать последней: «Мордово-Боклинская МТС».

Отсюда началось медленное угасание Дома, неприметное в колхозных буднях от зари до зари. С тех пор всё как будто было против него: и человеческий недосуг, оправданный заботами дня и года, и нелёгкое довоенное, и послевоенное время. Протекала проржавевшая крыша, подгнивали потолочные перекрытия, отклеивался дубовый паркет. И сейчас в Аксаково можно увидеть сарай, сколоченный из старинного паркета.

В пятьдесят третьем году по решению Оренбургского областного исполкома на ремонт бывшей усадьбы С.Т. Аксакова были отпущены немалые средства. На станцию Бугуруслан пришёл вагон с досками и кровельным железом. Всё это вскоре оказалось в Аксакове. Но, как объяснил председатель колхоза «Родина» И.А. Марков, часть стройматериалов сгнила и проржавела, часть была использована на нужды МТС. И это стало приговором для Дома.

Кстати, многие старожилы села, и среди них 79-летний плотник Г.С. Локтев, убеждены: если бы за пять-шесть лет до сноса крышу Дома отремонтировали, его было бы нетрудно восстановить.

И наступило лето шестьдесят второго, и два трактора принялись разрывать Дом: разобрать его было невозможно — на мертво засели в пазах скрепляющие брусья шипы...

Значение С.Т. Аксакова для русской литературы трудно переоценить. Почему же сейчас, на окраине села его имени мы не можем освободиться от чувства стыда перед памятью писателя? Как будто сами приложили руку к тому, что случилось восемь лет назад на берегах Бугурусланки...

В последний вечер, после разговоров в сельской библиотеке, стоим перед клубом. Вечер тихий и тёплый. Огромное багровое полушарие на Кудринской горе светит прямо в глаза.

за. Могучие отголоски языческого в этой близости к солнцу. Вспоминается что-то, какое-то продолжение этому блеску, этой багровости, слову этому... Багров-внук! Если так, то и через столетие сумел писатель напомнить о себе!

С тёмных холмов, чётко выделенных полоской горизонта, стекают сухие и теплые запахи полыни. Где-то в начале улицы женский голос звонко выговаривает частушку. Мы идём на этот голос и говорим об Аксакове...

26 мая 1971 года исполнительный комитет Оренбургского областного Совета депутатов трудящихся принял решение «О создании мемориального комплекса писателя Сергея Тимофеевича Аксакова в селе Аксакове Бугурусланского района». В решении было учтено всё, чтобы сохранить оставшееся в памятных местах. Но как неполно и нескоро выполнялись его пункты!

### *Вторая летняя поездка в Аксаково 1974 год*

Четыре года прошло с того памятного лета, Аксаково. С тех пор я не забывал тебя, как не забывается всё, что однажды взволновало. И снова я еду к Аксакову.

Сразу от Бугуруслана широкое шоссе взбирается круто в гору и бежит ровно и весело между рыжих увалов и дубрав, между ярких, радующих глаз молодых овсов. Проехав поворот на Мордовский Бугуруслан, оставляем шоссе и сворачиваем на Пронькино. По обе стороны дороги зелёные, нестерпимо зелёные поля. Вчера прошёл почти тропический ливень, затопивший улицы Бугуруслана, и дорога теперь не дорога, а приподнятый над кюветами канал чернозёмной грязи. Работая обеими ведущими, наша машина движется по немислимой параболе. Проезжаем Пронькино... «Канал» расширяется до пределов деревенской улицы.

От Пронькино новая дорога идёт левым берегом Большой Бугурусланки, прижимаемая к ней кое-где зеленеющими увалами. Кивацкое... Вот-вот должно показаться Аксаково. Вон далёко вижу уже знакомую, белеющую вторым этажом, Аксаковскую среднюю школу. Чтобы попасть к правлению колхоза «Родина», объезжаем село справа. Центральная улица перекрыта: видны срезанные грейде-

ром откосы, белеют железобетонные трубы будущего моста

Видны перемены в старом Аксакове. Вот новый обелиск павшим в Великой Отечественной. Против него, на другой стороне улицы, белеет над школьными акациями памятник-бюст С. Т. Аксакову. На площади перед школой — новые магазины.

Забегая вперед, скажу, что в правлении колхоза нам показывали генеральный план застройки села. Следя за горизонталями генплана, увидел тёмно-коричневый прямоугольник — первая очередь строительства — заново построенный и воссозданный в прежнем виде «Дом-музей С. Т. Аксакова».

Знакомой тропинкой мимо школы, миновав штакетник и оградивший сад — в прошлый приезд его не было — иду через поляну со школьной метеоплощадкой к старым аксаковским соснам, по тёмным аллеям в неумолчный грачиный грай.

На небольших полянках из густой и высокой, промытой дождем травы поглядывают на тебя десятки глаз — цветы... Мокрая, пахнущая грибной прелью тропинка выводит к Липовой аллее. Как много сломанных и высохших деревьев! Некоторые чернеют огромными дуплами. Это последние «современники» писателя.

Открываю «Детские годы Багрова-внука»... Глава «Приезд на постоянное житьё в Багрово». С неутомимостью старателя выискиваю, высматриваю промытые временем золотые крупицы аксаковской прозы. Вот не успели ещё Багровы, только что приехавшие из Уфы, разложить вещи, а мальчик Серёжа с дядькой Евсеичем «успели осмотреть Бугуруслан (так писатель называет речку Бугурусланку — В.К.), быстрый и омутистый, протекающий углом по всему саду, летнюю кухню, остров, мельницу, пруд и плотину»...

Пройдя от аллеи к берегу Бугурусланки, вернее, её мельничного рукава, я не увидел уже весёлого, быстрого течения — угол, который «с двух сторон... огораживал... сад», недавно спрямлен каналом. Мера необходимая: подмыв крутого поворота с каждой весной всё больше угрожал Липовой аллее. Но как скучна, невыразительна теперь зацветающая старица! Укрепив крутой, осыпающийся берег, можно без опасения — есть разгружающая протока — вернуть руслу прежнюю жизнь. Ведь «по глубоким местам в саду и плотине, — читаю в той же главе, — удил мы окуней и плотву такую крупную, что часто я не мог вытащить её без помощи Евсеича».



А волшебная нить аксаковского повествования ведёт всё дальше. Трудно удержаться, не перечитать эти чувственно-живописные картины! Как не вспомнить тут аксаковских с обезоруживающей лукавинкой слов: «... виноват, заговорился я, говоря о моей прекрасной родине!» Через дымку времени и искусства смотрю на вечно юные аксаковские дали. Нет только «круглого родникового озера»... И есть, ясно чувствуешь вокруг не однажды проверенное, почти физическое присутствие художника.

Три года как принято решение облисполкома о создании «Дома-музея С. Т. Аксакова». Трудно мириться с тем, что после важнейшего решения берег Бугурусланки около школы превращён в склад угля и... свалку, захламлены берега ниже по течению реки...

Перед отъездом стою на горе между старой и новой дорогами. В «Детских годах Багрова-внука» она названа «высокой горой... с гумном». Белые облака плывут над бугурусланской долиной. Ржаное поле вдали, за Бугурусланкой нескончаемо катится к Кудринской горе. Тёмно-зелёные купы аксаковского сада с выступающими вершинами сосен, Челябинская гора и сверкающее зеркало пруда за серебристыми вёслами «Грачовой рощи» — всё видится теперь сразу и поражает глаз. «Это был — да и теперь есть — уголок обетованный...» Как верно сказанное больше века назад! Пройдёт год и сто лет пройдёт, и всё так же в темнеющий лес за Кудринской горой, в лесную полосу на ржаном поле будет бить из тучи солнце... Не умирает природа, не умирают достойные её художники. Творчество Аксакова возвышает, делает сильнее и чище, как сейчас возвышают в тебе человека эти величественные картины аксаковских мест. Будем благодарны и расплатимся за любовь любовью.

### *Зимняя поездка в Аксаково*

*1975 год*

Случайно вышла эта поездка в семьдесят пятом. В Бугуруслан привели дела служебные. Февраль непогодил: то понесёт колючую метель, то распушит до чавкающей жижи снег по тротуарам.

Роясь в бесчисленных папках архивов двух управлений

нефтяников, жалел: вот под боком у Аксакова, а не увижу «уголка обетованного». Однако в Бугурусланский краеведческий музей зашёл. И оказалось, кстати. Комнатка, которую прежде занимала аксаковская экспозиция, была пуста — сразу после Нового года её немногочисленные экспонаты перевезли в Аксаково, в только что открытый филиал краеведческого музея\*.

Узнав о цели прихода, директор музея, энергичная дама средних лет, предложила ехать с ней: сегодня в филиал перевозили оставшуюся мелочь. Внизу ждал «Уазик», на полу кузова лежали две полурассыпавшиеся инкрустированные вещицы, напоминающие цветочные подставки, очевидно для крепости обвязанные бечёвками. Кое-как вставив в пазы ножки «музейных экспонатов», придвинул их к себе, чтобы держать дорогой. Так доехали до Аксаково.

Пока искали Галю, работницу музея, я прошёл в заснеженный сад. На аллее торчали обнажёнными ветвями старые липы. Вместо одной из них чернел свежееобугленный пенёк. Снег не успел занести рассыпанных вокруг углей. Узнал позже: неделю назад ребята разожгли костёр в «мемориальном» дупле. Охотников потушить его не нашлось.

Но вот прибежала юная Галя, ввела в пустынную комнатку. Что-то трогательно-беспомощное было в развешанных на стенах фотографиях — от пересъёмки и увеличений сохранились лишь намёки на оригиналы. Ни о каком эффекте присутствия писателя речи быть не могло.

Поинтересовался я прекрасными настенными часами, год назад висевшими в директорском школьном кабинете. Сработанные в Париже в первой трети прошлого века, они ещё действовали. Кто-то вспомнил, что видели их в куче школьного хлама... Надо, надо начинать научную организацию Аксаковского музея!

Немного перемен произошло с тех пор в мемориальных местах. Оградой на бетонных столбиках обнесён недавно

---

\* Можно считать это первым везеньем для аксаковской экспозиции — через два года деревянное здание музея сгорело дотла.

сад, делались попытки его реставрации. Директором музея назначена Т. А. Лазарева, горячая почитательница Аксакова. Но дело даже не в доброй воле отдельных подвижников.

В октябре 1979 года в Оренбурге состоялась аксаковская научная конференция, организованная Оренбургским отделом Географического общества СССР и другими государственными и общественными учреждениями. Аксаковские чтения не случайно открыли собой ряд ежегодных конференций, посвящённых замечательным людям Оренбуржья — этим ещё раз подчеркнута необходимость неослабного внимания к одной из историко-литературных жемчужин нашей Родины.

К 190-летию юбилею писателя в Аксакове отремонтирована бывшая «людская», превращённая в филиал Бугурусланского краеведческого музея. Усилиями энтузиастов — научного сотрудника Оренбургского краеведческого музея Л. Ф. Лазаревой, заслуженных учителей РСФСР краеведов М. М. Чумакова, Н. Г. Хлебникова и других первоначальная экспозиция пополнилась до трёхсот экспонатов. В нынешнем году новая экспозиция размещена в трёх комнатах филиала музея — детские годы писателя, его литературное творчество, память о С. Т. Аксакове.

И всё-таки уникальные места могут и должны дать нам гораздо больше, чем мы имеем сейчас. Нет лучшего средоточия для парка, пруда, речки Бугурусланки, окрестного ландшафта, чем заново построенный, хотя бы и методом народной стройки, аксаковский Дом. Только «Дом-музей С. Т. Аксакова» может взять под свой неусыпный догляд сбережённые реликвии.

Начинать разработку генерального плана реставрации мемориального комплекса нужно не откладывая — ведь до 200-летия со дня рождения певца русской природы осталось не так много лет.

Воссозданный к этой дате мемориальный комплекс в Оренбуржье, как и возникшие «с нуля» усадьба М. И. Глинки в Смоленской области, дома Короленко в Якутии и Гоголя на его родине, явит собой духовные ценности, с которыми надёжнее наше движение к будущему.

2 октября 1982 г.,

газ. «Комсомольское племя»

### **Возродить усадьбу С.Т. Аксакова**

**Открытое письмо первому секретарю обкома КПСС тов. Количенко А. Ф., председателю исполкома областного Совета народных депутатов тов. Костенюку А. Г.**

Обращаемся к вам от имени общественности Оренбуржья с настоятельной просьбой решить, наконец, вопрос о восстановлении усадьбы известного русского писателя, «певца Оренбургских степей», Сергея Тимофеевича Аксакова в селе Аксакове Бугурусланского района.

Богатая событиями история нашего степного края привлекала сюда выдающихся писателей. Здесь жили, бывали многие литераторы. И тем не менее в области нет ни одного литературного музея, нет центра, который собирал бы, систематизировал богатые материалы о связях с Оренбуржьем С.Т. Аксакова и Н.М. Карамзина, И.А. Крылова и Г.Р. Державина, А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого, М.Л. Михайлова и Т.Г. Шевченко, А.А. Фадеева и Мусы Джалиля, Д.А. Фурманова и Л.Н. Сейфуллиной и других писателей.

Таким центром в «оренбургской безмузейности» (по словам В.А. Солоухина) могло бы стать родовое поместье семьи Аксаковых. Здесь требуют восстановления дом Аксаковых, парк, пруд, водяная мельница. Дом писателя — это относительно скромное (9 комнат, общая площадь 360 квадратных метров — 30x12) рубленое здание с двускатной крышей, без архитектурных украшений. Тут нет ни бельведеров, ни мезонинов, ни красивых портиков и колоннад, которыми отличаются многие московские усадьбы. Единственным «излишеством» являются два простых крыльца.

Дом был снесён в 1962 году председателем местного колхоза «Родина» Марковым, которому понадобился лес для строительства телятника.

Около сорока лет оренбургские учёные, краеведы, писатели, журналисты ведут борьбу за воссоздание аксаковской усадьбы и организацию там мемориального музея. Об этом не раз писали известные в области краеведы Н.Е. Прянишников, Н.Г. Хлебников, П.С. Филатов, М.М. Чумаков и многие

Другие. Многократно обращались в местные и республиканские органы, выступали в печати. Не помогло и обращение народного депутата В.Г. Алексенцевой к министру культуры РСФСР. Министерство ответило отпиской. Дважды обсуждался этот вопрос в облисполкоме, принимались многообещающие решения с указанием сроков, ответственных лиц и организаций и т.п. Решения не выполнялись, дело с места так и не сдвинулось.

1 октября 1991 года исполнится 200 лет со дня рождения С.Т. Аксакова, замечательного писателя, прославившего Оренбургский край в своих прекрасных книгах. По решению ЮНЕСКО эта памятная дата будет широко отмечаться во всём мире. Только мы будем отмечать юбилей у разбитого корыта. И если не возродить усадьбу к этому большому событию мировой культуры, это не будет сделано никогда.

Осталось мало времени — чуть больше полутора лет. Теперь дорог каждый день. Это не терпит никакого отлагательства. Любая ссылка на нехватку времени вряд ли может быть признана состоятельной. Во-первых, потому, что борьба за возрождение аксаковских мест началась не сегодня и ведётся уже несколько десятилетий, и, во-вторых, есть хорошие примеры, подтверждающие мысль о том, что, если взяться по-настоящему, то всё можно сделать в короткий срок.

В Тульской области силами одного машиностроительного завода при активной поддержке обкома партии и облисполкома восстановлена усадьба Л.Н. Толстого в селе Петровском-Вяземском. Вся работа от начала проектирования до сдачи здания и открытия в нём музея выполнена менее чем за четыре месяца. Там построен в таком виде, какой был при Л.Н. Толстом, рубленый дом такого же объёма, как аксаковский, только более сложной конструкции. За это же время к селу проложена асфальтированная дорога и установлен памятник великому писателю.

В Пензенской области музейное дело поставлено на уровень высокой партийной политики. Там сейчас действует около двух десятков музеев, в том числе несколько литературных. Многие из них созданы в последние 10—15 лет. В этом деле активно участвуют областной комитет партии и облис-

полком. Примеры можно продолжить. Неужели у нас такое дремучее захоlustье, что никого это не волнует? Мы понимаем, что у области множество проблем срочных и неотложных. Но и эту надо решать безотлагательно!

А. Чибилев, председатель президиума Оренбургского филиала Географического общества СССР, кандидат географических наук;

Л. Футорянский, председатель областного союза краеведов, профессор Оренбургского пединститута, доктор исторических наук;

Л. Большаков, член Союза писателей СССР, кандидат филологических наук;

П. Краснов, член Союза писателей СССР;

В. Кузнецов, член Союза писателей СССР;

Г. Саталкин, член Союза писателей СССР;

П. Филатов, краевед, действительный член Географического общества СССР;

Н. Хлебников, краевед, заслуженный учитель школы РСФСР;

М. Чумаков, краевед, заслуженный учитель школы РСФСР;

В. Альтов, член Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры РСФСР;

В. Савельзон, член Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры РСФСР.

20 марта 1990 г.  
газ. «Южный Урал»

## ГДЕ РАСТИ «АЛЕНЬКОМУ ЦВЕТОЧКУ»?

### Ещё раз о судьбе Дома Аксакова

Наше время всё отчётливее проявляет, может быть, главную особенность творчества Сергея Тимофеевича Аксакова — теснейшую его связь с народной мифологией. Одним из первых русских писателей — после художественных открытий «Слова о полку Игореве» — он заявил с языческой страстностью чуть ли не заклинания о чувстве Родины.

Проза Аксакова заставляет вспомнить народное: «Сердце сердцу весть подаёт». С этим духовным подтекстом, думается,

связана и «бесформенность» С.Т. Аксакова как художника. То, что можно назвать формой его произведений, таится в сокровенных глубинах языка, обнаруживая себя, иначе не скажешь, пронзительной прелестью развёрнутых метафор. Вот как в «Семейной хронике» писатель через парадокс «выдаёт» святая святых своей личности: «Смешно сказать, а грех угадать, что я люблю дишкантовый писк и даже кусанье комаров; в них слышно мне знойное лето, роскошные бессонные ночи, берега Бугуруслана, обросшие зелёными кустами, из которых со всех сторон неслись соловьиные песни; я помню замирание молодого сердца и сладкую безотчётную грусть, за которую отдал бы теперь весь остаток угасающей жизни...».

О многом говорят эти рискованно-безоружные и обезоруживающие-таки чуткую душу признания в любви! И думаешь: это из своего запредельного далека писатель предлагает нам, потомкам, хорошо забытый в жестоком веке нашем ни много ни мало способ чувствования всей полноты мира. И не в его ли достаточности — залог нашего бессмертия?

Неожиданное значение получила ныне «авторская тайна» писателя: отсутствие в его произведениях вымышленных лиц, мест и событий. Сегодня аксаковские «документальные» картины природы обрели ещё и ценность экологических эталонов, необходимых нам не для сосуществования уже — для возможности самой жизни в самоубийственно распинаемой нами природной среде. Всеми возможными средствами классика противится распаду.

Со времени опубликования в середине прошлого века трилогии «Семейная хроника», «Воспоминания», «Детские годы Багрова-внука» аксаковские места на северо-западе Оренбуржья (село Багрово в аксаковской хронике) живут как бы двухбытийной жизнью: вечно молодой прозы и, увы, с каждым годом убывающей действительности.

Сергей Тимофеевич родился в Уфе, но родиной его творчества справедливо считается село его имени близ города Бугуруслана, что в Оренбургской области. Здесь «достоял» до 1962 года построенный дедом будущего писателя дом, в котором Багров-внук и его прототип Серёжа, а позднее Сергей Аксаков провели детство, отрочество и первые годы после женитьбы.. Именно в стенах этого дома из мощных сосновых

брусьев ключница Палагея рассказала маленькому Серёже знаменитую свою сказку «Аленький цветочек». Много лет спустя вынесенная писателем в приложение к повести «Детские годы Багрова-внука», сказка эта сама по себе — ключ к миру Аксакова. Переживая совсем не традиционный её психологизм, наивный драматизм реально-волшебного сюжета яснее видишь художественные и нравственные искания писателя. Так, во всей прозе С.Т. Аксакова негасимо цветёт, озаряя всё вокруг мягким светом (не отсветы ли перунова цветая-жар-цвета славянской мифологии?), аленький цветочек как некая главная тайна народной жизни. Не сорвать, не лишить его корней, не потеряв при этом душу живую.

От славян — внуков Солнца-Дажбога ведёт художник своего Багрова-внука дорогами и тропинками первооткрытия мира. И мы, читатели, снова и снова соучаствуем в языческой мистерии становления юного духа.

История сноса мемориального дома подробно описана в очерках Владимира Солоухина «Аксаковские места» и Михаила Лобанова «Поэзия и проза аксаковских мест». Не стоило бы сейчас возвращаться к тем дням национального позора, если бы не распространяемый исполнителями и адвокатами сноса миф о ветхости строения, то есть о роковой неизбежности сноса. Истина же в том, что в 1985 году по распоряжению теперь уже бывшего председателя колхоза «Родина» И.А. Маркова на окраине села Аксакова разобрали телятник, сложенный из ... отлично сохранившихся (и этому есть немало свидетелей) брусьев разрушенного дома писателя. А то уже незапланированные экскурсии начались к «мемориальному» объекту... Да окажется дом действительно ветхим, этот телятник хранили бы как зеницу ока: вот, мол, какая труха осталась от исторических брусьев!

В 1971 году после критического выступления областной молодёжной газеты «Комсомольское племя» Оренбургский облисполком принял решение «О создании мемориального комплекса писателя С.Т. Аксакова в селе Аксаково Бугурусланского района». Правда, из большого перечня актуальных пунктов решения выполнен, по сути, только один: в 1975 году в помещении бывшей людской усадьбы открыт филиал Бугу-



русланского краеведческого музея. За год перед тем аксаковские места получили, наконец-то, статус памятника республиканского значения.

Итак, аксаковский музей работает пятнадцатый год. В нескольких его комнатах собрано около трёхсот экспонатов, среди них — вещи из дома писателя. В Оренбургское Аксаково едут со всех концов страны. Об этой неодолимой духовной тяге говорят записи в книгах отзывов, которые сами по себе — документ эпохи.

И всё-таки постановление о создании мемориального комплекса в Оренбуржье не выполнено. Ведь в обязанности младшего научного сотрудника филиала не входит да и не может входить задача **сохранения аксаковских мест**. Нормативно они — под эгидой «памятника республиканского значения», на деле же беззащитны. До сих пор не установлена охранная зона, в усадебном саду гибнет уникальная Липовая аллея, современная писателю, вырождается и сам сад, хаотически застраивается историческая территория. К общим потерям этих мест мы ещё вернёмся, сейчас же есть все основания сказать, что к 200-летнему юбилею писателя его заповедные места могут приобрести законченно обезличенный вид.

О необходимости восстановления дома, как и всего комплекса, о долге перед памятью писателя говорят так давно и так безуспешно, что упоминание о большой проблеме приближается по эффекту к упоминанию о верёвке в известной ситуации. После создания музейной экспозиции что-то разладилось в оренбургском механизме обратной связи: шестерни «аксаковского» общественного мнения и исполкомов советской власти, надо сказать, крутятся раздельно.

Напомним, в своём очерке В. Солоухин впервые поставил вопрос о создании подлинного мемориального комплекса, то есть единого целого из научно воссозданного дома, сада, мельницы, многого другого, без чего невозможно ощущение исторического времени. «... В оренбургских степях, — писал Солоухин, — аксаковский комплекс был бы один на пятьсот километров вокруг, как единственный и необходимый очаг культуры, притягивающий к себе и школьные экскурсии, и вольные туристские группы, сочетающий в себе элементы

и просвещения, и воспитания любви к родной природе...». Это сказано четырнадцать лет назад. С тех пор необходимость такого центра культуры в Оренбуржье «катастрофически» возросла.

Ежегодно в центральной и местной печати появляются озоболенные размышления о судьбе аксаковских мест, но странное дело — здесь приходится говорить об оренбургском феномене: ни на одно из этих выступлений областное управление культуры не дало публичного конструктивного ответа. Вот и выступление «Литературной России» 22 мая 1987 года прошло как бы незамеченным в Оренбурге.

Неожиданными, иначе не назовёшь, выглядят рекомендации «группы специалистов, выезжавшей в Оренбургскую область по заданию Министерства культуры РСФСР в августе 1988 года», — цитирую начало письма в Оренбургский облисполком первого заместителя министра А. И. Шкурко. Под сенью погибающих аксаковских лип эта группа провела выездное совещание с участием заместителя председателя Оренбургского облисполкома П. Н. Башатова. Есть в протоколе того совещания замечательное предложение: «... Родовое поместье писателя С. Т. Аксакова передать в эксплуатацию колхозу «Родина» с соблюдением Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры». Непонятно не смутили участников совещания разорённые места! Третье тысячелетие — с первого выделения немалых по тем временам средств на капитальный ремонт существовавшего тогда мемориального дома (не реализованных по назначению средств. — В.К.) — колхоз во всём жёстком значении этого слова эксплуатирует аксаковскую славу. Под безличным «колхоз» имеется в виду прежде всего его бессменный председатель И. А. Марков, недавно ушедший на заслуженный отдых.

Итоги? Их немало: разрушенный дом писателя с мировым именем, поруганное захоронение праха его матери и брата, сожжённые мельница и древние липы, привычный вид мусора близ бывшей теперь школы на берегу Бугурусланки...

И вот вместо того, чтобы наконец поставить дело на единственно приемлемую «государственную, всесоюзного значения основу», то есть обсудить идею организации Государственного историко-литературного и природного музея-заповедника «Аксаково», квалифицированные специалисты, включая ди-

ректора музея-заповедника «Абрамцево», подписываются под документом, сворачивающем дело до масштабов колхоза.

В уже цитированном письме заместителя министра А.И. Шкурко к первоочередным мероприятиям отнесено: «... разработать зоны охраны усадьбы (это на пятнадцатом-то году действия «охранной грамоты» республиканского значения! — В.К.), оформить с колхозом «Родина» соответствующие охранные документы, отремонтировать силами колхоза здание бывшей школы, **расположенной на месте снесённого... усадебного дома**, и переселить в него правление колхоза...». Без пояснения к выделенному тексту не обойтись. Пусть пропущенная здесь неверная дата сноса не имеет принципиального значения, но то, что бывшая школа расположена **не на месте** снесённого усадебного дома, — это-то значение имеет! Кому понадобилось вводить в заблуждение замминистра? Недобросовестная информация затруднила и без того непростой поиск выходов из аксаковских тупиков.

Из приведённого письма как руководства к действию ясно: воссозданию дома-музея — центра будущего мемориального комплекса — в первоочередных мероприятиях внимания не уделялось, поскольку место этого дома занято функционирующим зданием — не сносить же его! А так как до замминистра, видно, доходят отзвуки настроений неорганизованной глубинки, то для её успокоения в письме есть просвет: «В перспективе рекомендовано осуществить восстановление усадебного комплекса в с. Аксаково».

В перспективе — какой: через десять, пятнадцать, двадцать лет?

Как мы начинаем понимать, культура народу нужна не в перспективе, она нужна «уже вчера». Оправдание каждого музея — в работающей, просвещающей истории. Какой смысл заниматься «первоочередными мероприятиями», если в аксаковских местах так и не появится на прежнем фундаменте дом, из окон которого, как когда-то Серёжа Багров, мы могли бы взволноваться видом окрестных «гор»? Это был бы взгляд не только на аксаковский ландшафт, но сравнивающий и познающий взгляд вглубь времени. А для такого «эффекта присутствия» в истории нужно знать, что окно, из которого

ты сейчас смотришь на Кудринскую гору, прорублено в стене из «таких же» сосновых брусьев, что и в прежнем аксаковском доме, и брусья эти, как двести лет назад, соединены в углах «на шипах».

Да, время работает «против Аксакова». Противники восстановления мемориальных мест привычно прикрываются экономическими трудностями, гипнотизируя оппонентов цифрами со многими нулями, хотя никто ещё серьёзно не защищал сметную стоимость восстановления комплекса.

Вряд ли нужно доказывать, что до конца века нам не грозит экономический бум. Значит ли это, что нужно сворачивать культурные программы? Слишком убедительные видим мы плоды «остаточного» подхода к делам культуры. Но пусть и велики окажутся общие затраты на восстановление всего комплекса, почему бы не рассчитать, скажем, десятилетний план аксаковского возрождения? А первой очередью — к двухвековому юбилею писателя — сделать воссоздание аксаковского дома.

Повторим очевидное: не может быть мемориального комплекса, пока не будет мемориального (в нашем случае, предельно приближенного к существовавшему) Дома с большой буквы — мозгового центра, могущего взять под свой неуспынный догляд естественные и культурные реликвии.

В одну из поездок в Аксаково, бродя по зарослям сада, наткнулись мы на незамеченную прежде огромную ветлу, вернее, выжженный внутри высокий пенёк от неё. Каким-то чудом безжизненный на вид пенёк дал соки большой зеленоющей наверху ветке. Вётлы, сказали нам, доживают до двухсот лет. Определить бы её возраст, выволить из завалов, «подлечить», ограду с табличкой поставить — ветла-то, скорее всего, «помнит» Сергея Тимофеевича! Помнить бы и нам, прошедшим через невиданные горнила истории, завещанную гением Пушкина, спасающую «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»...

P. S.

Этот материал готовился к публикации после принятия Оренбургским облисполкомом решения «О первоочередных мероприятиях по сохранению и благоустройству усадьбы

С.Т. Аксакова», требующего, на наш взгляд, специального комментария. К сожалению, решение не перешагнуло пределов, очерченных уже известным аксаковским совещанием. В документе, определяющем судьбу аксаковских мест не только до 1991 года — юбилея писателя, но, будем реалистами, на много дольше, есть бесспорные пункты о приведении в порядок аксаковского сада (но **порядок** — это не реставрационная категория для мемориального объекта), об асфальтовом покрытии дороги к селу Аксаково, о сборе средств на реставрацию усадьбы, о проекте благоустройства парка и центральной части усадьбы, который должен разработать в 1990 году институт «Оренбурггражданпроект». Правда, трудновато согласиться с последним: перечисленные работы требуют **специализированной** проектной организации.

И, наконец, в документе, которого давно ждала оренбургская общественность, принятом тем не менее без её участия, нет главного — решения о воссоздании аксаковского дома, о подготовке к организации музея-заповедника. Именно поэтому в деловом документе лишь прекраснодушно выглядит фраза: «Считать основной задачей на ближайший период сохранение природной зоны, памятных мест, построек в надлежащем состоянии». Всё это — слова, слова, слова... Кто будет «сохранять» всё это? Не единственный ли младший научный сотрудник музея?

В решении облисполкома заявлено о «совершенной утрате» дома Аксаковых. Это не так. **Схороненный** до поры, потому пока **сохранённый** фундамент аксаковского дома — такая же мемориальная данность, как Липовая аллея, древние сосны и вётылы сада. Фундамент этот — часть памятника республиканского значения и должен находиться под охраной закона. Об этом нелишне напомнить в связи с фактом наивного вандализма в блоковской усадьбе «Шахматово», о котором сообщила не так давно «Комсомольская правда» в публикации «Что, скифы мы»? Там строители, «воссоздавая блоковский дом, вычерпали мемориальный фундамент... в отвалы. Выбрали из земли последние корни культуры».

Возможно, возможно такое и в Аксаково, совершались уже в этом глухом углу области угрюмые чудеса... Вот

и в Бугурусланском горисполкоме предлагали нам одобрить вариант «бутафории» (слово нашего ответственного собеседника) к юбилею писателя. Идея эта достойна обнародования. Нужно, говорили нам, обшить тёсом кирпичное двухэтажное здание бывшей школы и пристроить к ней деревянные крыльца — чем не дом-музей? Так что есть опасность и для аксаковского фундамента, к слову никак ещё не обследованного.

Нет уже в аксаковском саду древней засохшей ветлы с зелёной веткой — символа аксаковского возрождения. Сломало бурей... Сколько ещё бурь предстоит пережить нашей культуре?

И ещё раз подумаешь, что движемся мы к какому-то пределу огрубления жизни нашей, где уже и сам воздух культуры выходит в «озонные дыры» сиюминутных интересов. И в таком не особо оптимистичном контексте подлинное возрождение аксаковских мест видится как духовная насущность не местного уже только — общечеловеческого значения.

6 июля 1990 г.

Газ. «Литературная Россия»

### *Возрождаются Аксаковские места*

Год 1990 войдет в оренбургскую аксаковскую летопись как год большого — и долгожданного — культурного события. Известие это порадует прежде всего участников общественного движения за восстановление аксаковской усадьбы в одноименном селе Бугурусланского района. Исполком областного Совета народных депутатов в новом составе вынес решение восстановить родовую усадьбу С.Т. Аксакова времён XVIII — начала XIX веков. Из комплексного плана реставрации выделены первоочередные объекты: родовой дом, водяная мельница и часовня над захоронением отца, матери и брата С.Т. Аксакова. Общестроительные работы на них намечено закончить к 1 октября 1991 года — 200-летней годовщине со дня рождения великого писателя.

Группе ульяновских специалистов Средне-Волжского филиала проектного института «Роспроектреставрация», уже

водит которой Т. А. Семёнова, вряд ли приходилось сталкиваться с подобными жёсткими сроками. Чтобы не сдерживать строителей, проектировщики должны подготовить рабочие чертежи объектов первой очереди не позже ноября.

Нынешним июлем перед зданием бывшей средней школы в селе Аксакове велись необычные земляные работы. Это реставраторы бережно вскрывали и исследовали чудом сохранившийся мемориальный фундамент знаменитого дома.

В изгороди откормочной площадки местного колхоза «Родина» дождались рулетки специалиста и остатки мемориальных брусьев, из которых был сложен всемирно прославленный в аксаковской прозе дом.

Не только по срокам, но и по сложности задача перед авторами проекта — из разряда подвигов: воссоздать облик дома, каким на стыке XVIII и XIX веков увидел его будущий автор классической дилогии: «Семейная хроника» (1856 г.) и «Детские годы Багрова-внука» (1858 г.). И здесь им должен помочь... сам писатель, рассыпавший на страницах своей прозы подробнейшие детали интерьеров дома, усадебной и окрестной топографии.

Добрых два десятка лет местные краеведы не могут прийти к единому мнению о том, сколько же этажей было в доме времен описываемых событий. Одноэтажный дом надстроен в конце прошлого века, говорят одни. Вот и сам писатель ни словом не упоминает о втором этаже, а ситуациями как будто косвенно доказывает, что дом был одноэтажным.

Стоило ли надстраивать даже не этаж, а полуэтаж, говорят другие, ведь высота надстройки около двух метров. Нет, дом сразу построен в виде, дошедшем до наших дней. Напомним, кстати, что он был снесён в 1962 году.

В вечерних беседах, которые мы вели после раскопок, главный инженер проекта Тамара Михайловна Семенова придерживалась второго мнения. Писатель потому обходил вниманием второй полуэтаж, предполагала она, что тот был антресольным, нежилым. В XVIII веке такое строительство в порядке вещей...

Вернувшись из июльской аксаковской командировки я, листая «Воспоминания» Афанасия Фета, наткнулся, как это

часто бывает, на то, что искал. Поэт покупал имение в Воробьевке близ Курска. И вот в доме, построенном примерно в одно время с аксаковским, — «целая половина антресолей занята чердаком, который... снабжён сходными ступенями, вероятно, с целью развешивания белья... Если высота этого чердака позволит, то тут выйдет три больших жилых комнаты, которых в доме так мало.

Оказалось, что строивший усадьбу... помещик Ртищев не любил, чтобы у него ходили над головой, и потому занёс верх над парадными комнатами чердаком». Высота его, продолжает автор, оказалась «всего в три аршина» — 213 см.

Пока Дом-музей рождается на ульяновских ватманах в Оренбурге, Бугуруслане и Аксакове готовятся к его реальному строительству. Проблем на этом уникальнейшем объекте немало. Нужно много сухого выдержанного леса-кругляка большого диаметра, весной будущего года потребуется бригада высокопрофессиональных плотников...

Проблемы интерьеров будущего Дома-музея и у музейных работников. Как ни неожиданно, частичное их решение находится в Куйбышеве (ныне г. Самаре).

Летом 1909 года, в пятидесятилетие со дня смерти С.Т. Аксакова, самарское дворянство открыло музей его имени. Большинство экспонатов — мебель, портреты, картины, дневники, письма, рукописи — относилось ко времени жизни С.Т. Аксакова. История этой, так называемой, Аксаковской комнаты, после революции перешедшей под эгиду самарского общества археологии, истории, этнографии и естествознания, заслуживает отдельного разговора. Сейчас же речь о том, что стараниями отечественных геростратов комната-музей была закрыта, а её содержимое передано в разные руки.

Так, по сведениям научного сотрудника Аксаковской музея Н.Н. Кудашевой, в Куйбышевской областной библиотеке оказались кожаные кресла, в здании театра оперы и балета — аксаковские шкафы. Нет нужды доказывать, что при подтверждении мемориальности мебели единственны



разумное и законное решение Куйбышевского облисполкома — в её возвращении на историческое место. Ведь именно из Знаменского, как прежде называлось оренбургское Аксаково, мебель и многое другое взято после приобретения в собственность самарским дворянским обществом родовой вотчины Аксаковых.

Пока ещё рано говорить, каким будет восстановленный Дом-музей С. Т. Аксакова. Ясно, что кроме внутренних экспозиций он возьмёт под свой неусыпный догляд и аксаковские реликвии под открытым небом: речку Большой Бугуруслан, протекающую по усадебному саду с мемориальными Липовой аллеей, древними соснами и ветлами — «современницами» писателя, пруд, водяную мельницу, вид на окрестные холмы или «горы», как в его прозе, — всё, что и через полтора века согревает нас теплом и внутренним светом.

Оправдание каждого музея — в работающей, просвещающей истории. В местах, притягивающих тайной прекрасного людей со всех концов Союза, появится на прежнем фундаменте Дом, из окон которого Серёжа Багров умел видеть и чувствовать жизнь как дар и как радость.

Разработана и подготавливается большая юбилейная программа. Будущий, очень напряжённый для организаторов год воссоздания памяти великого художника слова объявлен аксаковским.

Будут выпущены юбилейные медали, значки, плакаты, буклет, осуществлено улучшенное переиздание «Записок об уженье рыбы». В 1991 году памяти С. Т. Аксакова будут посвящены циклы телепередач, газетные материалы, лекции и беседы о его жизни и творчестве, художественные и книжные выставки, научно-практическая конференция, литературно-музыкальный вечер в Оренбурге.

Завершится праздник в Аксакове, где состоятся торжественное открытие музея-усадьбы, выступления писателей, Оренбургского государственного русского народного хора. Торжества на земле «Аленького цветочка» станут органич-

ной частью Всесоюзного аксаковского праздника, который пройдёт в Уфе, где родился писатель, в Казани, где учился в Абрамцево и Москве, где он жил последние годы, творя свой художественный подвиг.

2 октября 1990 г.  
Газ. «Южный Урал»

## ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

### *Совпадения*

И жизнь, и посмертная история Сергея Тимофеевича Аксакова полны странных, мистических совпадений. Вообще в истории отечественной литературы не редкость повторяющаяся драматичность писательских юбилеев. Пятидесятилетие со дня его рождения совпало с годом гибели на дуэли М. Ю. Лермонтова. Столетие автора хрестоматийных уже по известей «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» наложилось на тяжелейшее для России время: голод во многих губерниях. В Англии даже образовали фонд помощи пострадавшему от неурожая русскому крестьянству. Аксаковское 150-летие заволочло дымами и заглушило разрывами Великой Отечественной...

И вот в блуждающих огнях третьей за один век революции подошло 200-летие со дня рождения этого признанного всеми при жизни «патриарха русской литературы». О чём могут сказать эти совпадения, какую пищу могут дать неуспокоенному уму? Классика, сопровождая нас в нашем историческом пути, приходит к нам на помощь в глухие годы. Чтобы указать путь. И в этом значении слово Аксакова ясностью и любовью противоборствует нынешнему безумью, так схожему с безумьем начала прошлого века.

Но аксаковские совпадения на этом не кончатся. Вот место из книги Владимира Солоухина «Письма из Русского музея»: «Взрывали Симонов монастырь. В монастыре было фамильное захоронение Аксаковых (последние годы жизни С. Т. Аксаков жил с семьей в Москве и подмосковном имении Абрамцево, где сейчас музей-заповедник. — В.К.) и, кроме того, могила поэта Веневитинова. Священная память перед

замечательными русскими людьми, и даже перед Аксаковым, конечно, не остановила взрывателей. Однако нашлись энтузиасты, решившие прах Аксакова и Веневитинова перенести на Новодевичье кладбище. Ну, сначала идут обыкновенные подробности, например:

«7 часов. Приступили к разрытию могил...

12 ч. 40 м. Вскрыт первый гроб, в нём оказались хорошо сохранившиеся кости скелета. Череп наклонён на правую сторону. Руки сложены на груди... На ногах невысокие сапоги, продолговатые, с плоской подошвой и низким каблуком...»

Ну, и так далее, и так далее. Протокол как протокол, хотя и это ужасно, конечно. Потрясло же меня другое место из этого протокола. Вот оно:

«При извлечении останков некоторую трудность представляло взятие костей грудной части, так как корень берёзы, покрывавшей всю семейную могилу Аксаковых, пророс через левую часть груди в области сердца».

Вот я и спрашиваю, продолжает Владимир Солоухин: можно ли было перерубать такой корень, ронять такую берёзу и взрывать само место вокруг нее?»

Мертвые сраму не имут, говорили наши предки, — это дело живых... Сообщённый запретный, кощунственный факт из аксаковского — и нашего инобытия как бы подтвердил главную правду его земного существования: на фамильном гербе рода Аксаковых — сердце, пронзённое стрелой.

### *Время исчезло*

У Фёдора Ивановича Тютчева, малоизвестного нам и своей великой поэзией, и полным мыслей и глубокого достоинства эпистолярным наследием, есть точнейшее наблюдение: «... в сущности, лишь в самые первые минуты ощущается поэтическая сторона всякой местности. То, что древние называли гением места, показывается вам лишь при вашем прибытии, чтобы приветствовать вас и тотчас исчезнуть...». Убедиться в этом довелось в первый приезд в аксаковские места летом семидесятого. Именно в те первые сухие, насыщенные запахами полыни и чабреца дни легко и свободно открылась, как

мне показалось, загадка происхождения фамилии главных героев биографических повестей Аксакова — Багровы. Её вдруг подсказало закатное солнце с Кудринской горы. Невиданный огромный, переливающийся протуберанцами багровый диск солнца был так близок, что казалось, можно дойти до него. Я поймал себя на неведомом, может быть, каком-то языке восторге от этой близости к солнцу. Вот она, живая Аксаковская корабля к «Слову о полку Игореве»!.. Ведь это там говорится о славянах как внуках Дажбога — внуках Солнца! Как легко было «язычнику» Аксакову перейти отсюда к современному варианту: Багров-внук...

«... Чтобы приветствовать вас и тотчас исчезнуть...». Да, вот так. В последующие приезды было уже как бы лишь количественное узнавание нового: беседы со старожилами, рабочие прогулки по саду и окрестным холмам или «горам», как в его прозе, краеведческие встречи, связанные с подготовкой восстановления аксаковского дома и самим строительством. Но вот случился приезд летом нынешнего, юбилейного года и снова как будто протянулась ниточка на два века...

После шумных затянувшихся разговоров я вышел из дома Аксаково спало. Тихая в долине стояла глубокая ночь. Край долины — волнистые пологие холмы — чётко чернели, выдвигались на тёмном небосводе, а за круглой вершиной самого высокого из них тревожно разгоралось зарево невиданной зари: всходила красновато-полная луна.

И я понял, что это низкое сейчас звёздное небо и этот вогнутый овал холмов — такие же, как и сто, и двести лет назад, и ничто сейчас не стоит между твоей душой, впитывающей ветреную ночь, и душой восторженного мальчика Сергея Багрова. И время исчезло — осталась только эта живая все одушевляющая память.

### *Жив ли Пушкин?*

Не забуду, как на первом занятии школьного литературного кружка пятиклассник, нормальный живой мальчишка, спросил после короткого рассказа о Пушкине: «А он жив?» Какие громкие после этого метать в адрес так просвещающей системы?

Но если для мальчишки не всё ещё потеряно, то что делать с утверждением аксаковского старожила: «Барский дом стро

ят, а он (кто? С.Т. Аксаков?) крестьян притеснял!» Абсурдно, конечно, но ведь до сих пор говорят.

Прежде всего, Сергей Тимофеевич Аксаков ни одного дня не владел этим именем, оно досталось его брату Аркадию Тимофеевичу, а позже — племяннику Сергею Аркадьевичу, земскому начальнику, последнему владельцу усадьбы, умершему около 1908 года. Ясно, что хулят писателя люди, не прочитавшие ни одной его страницы. Вернее, даже не они это говорят, а мировоззренческие штампы, рождённые творцами вульгарной социологии 20-х годов прошлого века. Ведь здесь впитанный с детских лет классовый подход к жизни: если «барин», то «притеснял», не мог не притеснять.

К сожалению, ничего не смог узнать о последнем владельце имения, возможно, не зря говорят о нём худое, нет дыма без огня. Но причём тут его великий родич, живший здесь за 80 лет до него? Это ведь равносильно вопросу пятиклассника: жив ли сейчас Пушкин...

А великий родственник последнего Аксакова глядит на крестьян своего времени глазами маленького Серёжи Багрова, и вот что видят эти глаза («Детские годы Багрова-внука»):

«Вскоре зачернелись полосы вспаханной земли, и, подъехав, я увидел, что крестьянин, уже немолодой, мерно и бодро ходит взад и вперёд по десятине, рассевая вокруг себя хлебные семена, которые доставал он из лукошка, висящего у него через плечо. Издали за ним шли три крестьянина за сохами; запряжённые в них лошадки казались мелки и слабы, но они, не останавливаясь и без напряжённого усилия, взрывали сошниками чернозёмную почву, рассыпая рыхлую землю направо и налево, разумеется, не новь, а мякоть, как называлась так несколько раз паханная земля; за ними тащились три бороны с железными зубьями, запряжённые такими же лошадками; ими управляли мальчики. Несмотря на утро и ещё весеннюю свежесть, все люди были в одних рубашках, босиком и с непокрытыми головами. И весь этот, по-видимому, тяжёлый труд производился легко, бодро и весело. Глядя на эти правильно и непрерывно движущиеся фигуры людей и лошадей, я забыл окружающую меня красоту весеннего утра. Важность и святость труда, которых я не мог тогда вполне ни понять, ни оценить, однако глубоко поразили меня... Я сравнивал себя с крестьянскими мальчиками, которые целый день, от вос-

хода до заката солнечного, бродили взад и вперёд, как по песку по рыхлым десятинам, которые кушали хлеб да воду, — и мне стало совестно, стыдно, и решился я просить отца и мать чтоб меня заставили бороновать землю...»

Неудивительно, что из дворянского сына не получилось пахаря (хотя позже другой великий писатель, Лев Толстой пошёл за сохой, конечно же, помня переживания Серёжи Багрова), из С.Т. Аксакова вообще не получилось сельского хозяина, помещика. Каждый, по Вольтеру, должен возделывать свой сад. Сергей Тимофеевич Аксаков возделал свой удивительный вечноцветущий сад русского слова.

Завершая «Семейную хронику», её автор обратился не только к воссозданному им прошлому, но и к неведомому будущему, к нам, сегодняшним: «Прощайте, мои светлые и тёмные образы, мои добрые и недобрые люди, или лучше сказать, образы, в которых есть и светлые и тёмные стороны, люди, в которых есть и доброе и худое! Вы не великие герои, не громкие личности; в тишине и безвестности прошли вы своё земное поприще и давно, очень давно его оставили; но вы были люди, и ваша внешняя и внутренняя жизнь так же исполнена поэзии, так же любопытна и поучительна для нас, как мы и наша жизнь, в свою очередь будем любопытны и поучительны для потомков... Могучей силой письма и печати познакомлено теперь с вами ваше потомство. Оно встретило вас с сочувствием и признало в вас братьев, когда и как бы вы ни жили, в каком бы платье ни ходили». И провидчески поставил предупреждающую точку: «Да не оскорбится же никогда память ваша никаким пристрастным судом, никаким легкомысленным словом!».

### *Ода музею*

На подступах к этому сюжету многого не хватало. Пытаясь прояснить для себя тему, я, по сути, бессознательно копался в книжных полках, пока не увидел «Философию общего дела» русского философа Николая Федоровича Фёдорова. Несколько лет книга пролежала почти не раскрываемой. И вот — первое название статьи, выхваченное

взглядом из оглавления, было... «Музей, его смысл и назначение!» — как будто книга усиленно подзывала к себе...

Здесь, конечно, не место излагать полностью фёдоровские взгляды, но главные положения можно наметить. Вот что говорит этот удивительный мыслитель: «Всякий человек носит в себе музей». Прочитал это, и тут же согласился: да фотография родного человека, с кем душа расстаться не может — это же личный музей! Сколько таких домашних хранилищ даже у самых равнодушных людей.

Один и тот же корень оказывается в словах (индоевропейских языков, куда входит и славянская группа языков), выражающих и память (притом память именно об отцах, об умерших), и разум, и вообще душу, и, наконец, всего человека. От памяти, то есть всего человека, родились музы и музей. Исследования убеждают, что они родились вместе с его сознанием.

Сама идея музея — оптимистичная идея, потому что хотя он и есть собрание всего отжившего, но его существование показывает, что нет дел конченных. Для музея самая смерть не конец, а только начало. Сдача дел в архив и перенесение всяких останков жизни в музей были передачей в высшую инстанцию, в область исследований, в руки потомков.

И, наконец, главное, о чём говорит Фёдоров: чтобы иметь мир внутренний и лад душевный, без которого невозможен и мир внешний, нужно быть не врагами своих предков, а действительно благодарными их потомками. Болезнь века и заключается именно в отрешении от прошлого, от общего дела всех поколений, что и лишило нашу жизнь смысла и цели.

И ещё одну светлую и глубокую мысль сформулировал ровесник и оппонент Льва Толстого: музей есть не собрание вещей, а собор лиц; деятельность его заключается не в накоплении мёртвых вещей, а в возвращении жизни останкам отжившего, в восстановлении умерших по их произведениям живыми деятелями.

Но, подумалось, аксаковский музей ставит перед нами ещё одну великую цель: восстановление живой природы, её эталонов: экологически чистых речки Бугурусланки

и пруда, сада с мемориальными липами и вёслами, видов на окрестные холмы, степного разнотравья, по возможности, болотной дичи. Лишить всего этого аксаковские места, значит, лишить их мемориальности и творческой силы, как бы захотеть любоваться живой рыбой, вытащенной из воды. И здесь надо повторить то, о чём говорилось неоднократно: уникальные эти наши места, которые могут принести много доброго нам и нашим потомкам, могут жить и мемориально работать лишь в режиме историко-литературного и природного заповедника. На заповедной территории нельзя допускать никакой производственной и всякой другой деятельности, не связанной непосредственно с музейными задачами. Здесь не может быть, не должно быть материальной эксплуатации как таковой, лишь духовное, просвещающее использование, сбережение и исследовательские работы. Невозможно сочетание музея и корысти даже с благими намерениями.

Пусть эти тревожные нотки, как и многое другое, не омрачат аксаковского праздника. Слишком от многого зависят сегодняшние попытки восстановления связи времен, душеобразования, говоря словом Н.Ф. Фёдорова. Дай Бог нашим Аксаковским местам стать наконец-то подлинным прибежищем и успокоением аксаковского духа!

14 сентября 1991 г.

Газ. «Оренбургье»

### *Живое слово и абсурд времени*

Начать эти юбилейные заметки хочется развернутой цитатой блистательного современника Аксакова, поэта, философа, критика и публициста Алексея Степановича Хомякова (1804 – 1860 гг.). В статье памяти С.Т. Аксакова Хомяков говоря об истоках его художественной стихии, пронизательно определил главное: «С.Т. Аксаков живёт в своих произведениях: говорит ли он о светлом дне, вы чувствуете радостную улыбку, отвечающую улыбающейся природе, говорит ли он о дружеской руке, протянутой к нему с приветом, вы чувствуете, что эта рука падает не в холодную руку равнодушного, а будет встречена тёплым рукопожатием».



А между тем он этого не говорит, но он сам весь в своём слове, весь со своей крайней впечатлительностью и правдивою энергиею. Вы слышите речь старца, много пережившего, вы видите, что волнение жизни улеглось и что мысль и чувство лежат перед вами со своей полной прозрачностью, не возмущая очерка предметов, но облекая их каким-то чудным сиянием. Вы как будто слышите этот твёрдый, полновзвучный, мужественный голос, который так памятен его друзьям, видите этот почтенный образ мужественного старца, согнутого, но не сломленного годами и болезнями. Вы не можете знать его творений, не узнав в то же время его самого, не можете любить их, не полюбив его. Тайна его художества в тайне души, исполненной любви к миру Божьему и человеческому. Поэтами рождаются».

Обширная эта цитата, рисующая кроме всего прочего, выразительный портрет писателя, передаёт ещё и настроение времени. Настроения же середины прошлого века из наших дней кажутся потерянным раем. И это не дежурное стародумство, овладевающее большинством из нас во второй половине жизни, а естественное сожаление об исчезающем из нашего духовного обихода идеале общественного человека.

В самом деле, если принять за жизненную цельность и полноту сочувствие и любовь к правде, к ближнему, бескорыстную отзывчивость к миру во всех его проявлениях, а именно подобная полнота не могла не быть перед внутренним взором автора книг «Детские годы Багрова-внука», «Семейная хроника», рыбацких и охотничьих записок, воспоминаний о жизни, то можно наблюдать всё убыстряющееся дробление, разделение, разложение этого целого, выдавание за целое его частей. Мы видим это в современной живописи, всё более теряющей духовный смысл, всё более сводящейся к материально-молекулярному уровню, мы слышим это в музыке — не верящих отсылаю к республиканской вечерней радиопрограмме «Четыре четверти», с первых выходов в эфир ставшей площадкой агрессивно-вызывающих для большинства радиослушателей какофонических экспериментов, мы читаем это в «новейшей» литературе под лакированными обложками, где обезбо-

ления о самом важном в жизни, священном. Вслушиваясь и созерцая, ждёт русский от своего искусства, что оно приоткроет ему нечто важное, может быть, даже самое важное и о сущности жизни и мира, о глубинах сердца, о закономерности личной и общественной духовной жизни». И надо сказать, что в высших своих достижениях отечественная литература не обманывала этих надежд.

Художественные откровения Державина, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тютчева и, конечно, Сергея Тимофеевича Аксакова — одного их первых экологически упреждающих писателей — напоминают нам, возвращают нас к идеалу человеческого совершенства, оказываясь тем самым не во вчерашнем, а в завтрашнем, если мы ещё способны понять это, дне.

Вот несколько отрывочных, беглых замечаний к переживаемому всеми нами времени, к юбилею великого нашего литературного земляка с глубокой надеждой, что восстанавливаемый ныне на прежнем фундаменте Дом-музей С.Т. Аксакова не станет одним из объектов русской резервации, а будет духовным работающим центром бессмертной культуры.

1 октября 1996 г.

Газ. «Южный Урал»

### *Чтобы ожила связь времён*

Нынешним летом в Аксаковских местах, что под Бугурусланом, произошло событие, которое по своему духовному и культурному значению видится равным очень непросто, затянувшемуся на четверть века открытию самого Дома-музея писателя. Четверть века работа музея, — сначала как филиала Бугурусланского краеведческого в бывшей аксаковской людской, потом в средней школе, позже — в восстановленном на подлинном фундаменте родовом доме Аксаковых, — проходила «в пяти шагах» от разорённого в тридцатые годы семейного захоронения Аксаковых: отца, матери и брата писателя. Забыта и затоптана была и память об этом месте. Но культура едина и неразрывна: нельзя чествовать сына, попирая прах его матери.

Многолетний мемориально-нравственный «гордиев узел» взялись «разрубить» энтузиасты отечественной культуры, организовавшие в июне археологическую экспедицию в Аксаково. Возглавили её директор (на сегодняшний день — бывший. — В.К.) Бугурусланского филиала областного государственного архива, подвижница аксаковских разысканий Е.В. Мишанина и научный сотрудник археологической лаборатории Самарского (почему же не Оренбургского педагогического?) государственного университета, к тому же, родственница Карамзиных, Н.В. Овчинникова. Это ли не повод ещё раз убедиться в том, что подлинная культура держится на личностях?

Кроме коллег из университетской лаборатории в раскопках приняли участие, смеем думать, душеобразующее, старшеклассники из Аксаковской и Бугурусланских городских школ. Местный колхоз «Родина», обязанный имени писателя неисчислимыми благами, обеспечил археологов трактором «Беларусь» с ковшом.

Предварительные итоги первого сезона раскопок, начатых с благословения священника о. Александра Бойко, впечатляют: в одном из трёх найденных кирпичных склепов — в двух других детские захоронения — обнаружен прах пожилой женщины, — предположительно, матери писателя Марии Николаевны, умершей в 1833 году. У её изголовья — положенные с ней в позапрошлом веке листья смородины и трава чабреца.

Пусть пока не удалось определить точных границ родового захоронения, но на месте раскопок отслужена заупокойная лития, установлен крест. Так хочется видеть в этом надежду на выздоровление от болезни века, как называл её русский мыслитель Николай Фёдоров: «отрешение от прошлого и общего дела всех поколений».

Найдено и место Знаменской церкви, много лет занятое клубом с каменной плитой от паперти у входа. Эту плиту, зашарканную столетиями, надо было ещё увидеть внимательным, профессиональным глазом...

В наш июльский приезд в Аксаково директор Дома-музея Надежда Николаевна Карюкина (эта милая обя-



## Свидание с пылающей эпохой



Зима 1832-го... Александр Сергеевич Пушкин «с жаром, почти со страстью», как говорит его биограф П.В. Анненков, собирает материалы к истории Петра Великого. Но не только время Петра оживает в архивных документах: 58 лет назад на московских заставах палачи развеяли пепел сожжённых Пугачёва и его ближайших сподвижников, на всех картах повелением Екатерины II древнее название реки Яик заменили на Урал, а яицких казаков переименовали в уральских. На огромных пространствах губернии, включающей в то время Оренбургскую, Исетскую, Уфимскую и Ставропольскую провинции, в назидание на будущее десять лет зловеще чернели виселицы с готовыми петлями...

Зимой начала 1833 года Пушкин, получивший диплом члена Российской Академии, продолжает накапливать свидетельства драматичной эпохи. В конце февраля в письме к другу П.В. Нащокину вырывается: «Путешествие нужно мне нравственно и физически».

К лету 1833-го завершена черновая рукопись «Истории Пугачёва». Многие в ней не устраивало автора: и односторонность официальных документов, и отсутствие секретных протоколов допросов Пугачёва (Пушкина не допустили к ним), и невыясненная до конца позиция самих восставших. Только участники и очевидцы восстания могли помочь выяснению истины. До нас дошла черновая редакция просьбы Пушкина к управляющему III отделением А.Н. Мордвинову о «творческом отпуске», датированная концом июля 1833 года:

«В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два

и её тёткой — вырастает в его передаче (письмо жене от 2 сентября) в драматическое действо. Поэт — Протей, могущий принимать любые образы; здесь, на сцене жизни, он художественно примеряет бесчисленные маски. Но жене, которая мыслится его крепостью, его надёжным тылом, не обязательно знать всей череды его превращений. Прямой от природы, поэт простодушно оправдывается, всё больше завязая в воображаемой вине: «Ты спросишь: хороша ли городничиха? Вот то-то, что не хороша, ангел мой Таша, о том-то я и горюю. — Уф! кончил. Отпусти и помилуй». Дальше — больше: «Ты видишь, что несмотря на городничиху и её тётку (в народе говорят: «Сам на себя палку подаёт». — В.К.) — я всё ещё люблю Гончарову Наташу, которую заочно целую куда ни попало». И как после минутного наваждения возвращаются к предмету прежнего обожания с более пронзительным чувством, так и здесь поэт заканчивает письмо музыкальным каскадом итальянской неги-признания: «*Addio mia bella, addio mio, mio bel tesoro, quando mai ti rivedro...*», многое теряющее в переводе: «Прощай, красавица моя, кумир мой, прекрасное моё сокровище, когда же я тебя опять увижу?...» Легко ли быть женой гения?

Две главные мысли занимают стремительного тридцатичетырёхлетнего путешественника: о «моём герое» Пугачёве и о доме, в котором царствует первая красавица Петербурга, а может быть, и России, мать его Сашки и Машки, его «мадонна» (так и писал: с одной «н». — В.К.) — чистейшей прелести чистейший образец». В его письмах — дорожные впечатления, и, говоря его словами, «беспокойствия семейственные, ревность». И везде отсутствие, по крайней мере, внешнее, иссушающей серьёзности — так всю жизнь, так кручина неймёт.

Из Павловского: «Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете — душу твою люблю я ещё более твоего лица...» Верх беспокойства в письме из Нижнего Новгорода: «Мой ангел, кажется, глупо сделал, что оставил тебя и начал опять кочевую жизнь. Живо воображаю первое число. Тебя теребят за долги, Параша, повар, извозчик, аптекарь..., у тебя не хватает денег, Смирдин (издатель. — В.К.) перед тобой извиняется, ты беспоко

ишься — сердисься на меня — и поделом. А это ещё хорошая сторона картины — что, если у тебя опять нарывы, что, если Машка больна? А другие, непредвиденные случаи... Пугачёв не стоит этого. Того и гляди, я на него плюну — и явлюсь к тебе... Гуляешь ли ты по Чёрной речке или ещё взаперти? Во всяком случае береги себя. Скажи тётке, что хоть я и ревную её к тебе, но прошу Христом и Богом тебя не покидать и глядеть за тобою».

Пятого сентября (скорости 19-го века!) путешественник в Казани. Оказавшийся здесь по делам Евгений Баратынский знакомит друга-поэта с профессором Казанского университета К.Ф. Фуксом (1776 — 1846) — известным медиком, историком, этнографом и нумизматом, личностью, во многом напоминающей В. И. Даля. Его картинная галерея, библиотека, ботаническая, минералогическая, нумизматическая и археологическая коллекции привлекают поэта. Знакомится он и с молодой женой Фукса — казанской поэтессой Александрой Андреевной. В своих воспоминаниях она так рассказывает об этом:

«Мы сели в моем кабинете. Он... просил меня непременно почитать стихи моего сочинения... Много говорил о духе нынешнего времени, о его влиянии на литературу... о поэтах, о каждом из них сказал своё мнение и наконец прибавил: «Смотрите, сегодняшний вечер была моя исповедь: чтоб наши разговоры остались между нами».

Вот как эта встреча преобразилась в мистифицированном отчёте жене в письме от 12 сентября: «Из Казани я написал тебе несколько строчек — некогда было. Я таскался по окрестностям, по полям, по кабакам и попал на вечер к одной *blue stockings* (синему чулку (англ.). — В.К.) сорокалетней, несносной бабе с вощёными зубами и с ногтями в грязи. Она развернула тетрадь и прочла мне стихов с двести, как ни в чём не бывало. Баратынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхвалил её красоту и гений. Я так и ждал, что принуждён буду ей написать в альбом — но Бог помиловал, однако она взяла мой адрес и страшает меня перепискою и приездом в Петербург, с чем тебя и поздравляю» ...

Здесь, по сути, те же, что и в случае с городничихой, бе-

не посетить архива! Ныне ул. Советская, 7. Не странно ли, что на этом доме нет мемориальной доски? — В.К.)

«В Оренбурге Пушкину захотелось в баню, — вспоминает Даль. — Я свёл его в прекрасную баню к инженер-капитану Артюхову, добрейшему, умному, весёлому и чрезвычайно забавному собеседнику (К.Д. Артюхову — директору Неплюевского военного училища. Юный слуга Артюхова доложил ему о приходе «генерала Пушкина». — В.К.).

В предбаннике расписаны были картины охоты, любимой забавы хозяина. Пушкин тешился этими картинами, когда весёлый хозяин, круглолицый, голубоглазый, в золотых кудрях, вошёл, упрасывая Пушкина ради первого знакомства откусать пива или мёду. Пушкин старался быть крайне любезным со своим хозяином и, глядя на расписной предбанник, завёл речь об охоте». Артюхов, между прочим, заговорил о вальдшнепе и утке: одна, подстреленная, «свалится боком, как топор с полки, бьётся, валяется в грязи, кувиркается», а другой «только раскинет крылья, голову набок — замрёт на воздухе, умирая как Брут!». Здесь продолжал Даль, Артюхов, «раскинув руки врозь, как на кресте», показал, как умирает вальдшнеп, — «Пушкин расхохотался...».

Знаток края, Артюхов сопровождал Пушкина и Даля в Бёрды. Даль вспоминал: «По пути в Бёрды Пушкин рассказывал мне, чем он занят теперь, что ещё намерен и надеется сделать... Пушкин потом воспламенился в полном смысле слова, коснувшись Петра Великого, и говорил, что непременно, кроме «дееписания» о нём, создаст и художественное «в память его» произведение...».

Дорога располагала к общению, и они обменялись устными народными сюжетами сказок: Пушкин — о Георгии храбром и волке, Даль — сказкой о рыбаке и рыбке.

Вскоре после отъезда поэт прислал рукопись обработанной им «Сказки о рыбаке и рыбке» с надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому (псевдоним Даля. — В.К.) — сказочник Александр Пушкин». Это было и ответом на полученные ещё за год до оренбургской поездки «Русские сказки» Даля. Не исключено, что именно Даль сообщил в те



Ани Пушкину сказку об орле и вороне, которую в «Капитанской дочке» Пугачёв рассказывает Гринёву.

Предупреждённые Перовским, станичный атаман Иван Гребенщиков и купец Николай Кайдалов ждали гостей. По рассказу Кайдалова, поэт «был среднего роста, смуглый, лицо кругловатое с небольшими бакенбардами, волосы на голове чёрные, курчавые, не долгие, глаза живые, губы довольно толстые. Одет был в сюртук, плотно застегнутый на все пуговицы, сверху шинель суконная, с бархатным воротником и обшлагами, на голове измятая поярковая (свалянная из овечьей шерсти. — В.К.) шляпа, на руках: левой на большом, а правой на указательном пальцах по перстню. Ногти на пальцах длинные, лопатками... При входе в комнату Пушкин сел к столу, вынул записную книжку и начал расспрашивать стариков...».

И какие картины представились тогда поэту! Каким образом живым языком удивила его старая казачка Ирина Афанасьевна с говорящей фамилией Бунтова! Даль вспоминал: «В Бёрдах мы отыскивали старуху, которая знала, видела и помнит Пугачёва, Пушкин разговаривал с ней целое утро, ему указали, где стояла изба, обращённая в золотой дворец (дом бердского казака Константина Ситникова, где Пугачёв квартировал с ноября 1773-го по март 1774 года. Стены избы были оклеены изнутри золотой фольгой — «шумихой». — В.К.) ... указали на гребни, где по преданию лежит огромный клад Пугачёва, зашитый в рубаху... Старуха спела... несколько песен... и Пушкин дал ей на прощанье червонец».

Даль рассказал Пушкину исторический анекдот о том, как Пугачёв, захватив Бердскую слободу, вошёл в церковь, сел на престол и сказал: «Как я давно не сидел на престоле!». Пушкин слушал «с большим жаром и хохотал от души...».

Допоздна не гас свет в кабинете Даля. Им было о чём поговорить, великому поэту и способному учиться у жизни будущему великому лексикографу. Историк П.И. Бартечев утверждает, что «за словарь свой (Толковый словарь живого великорусского языка. — В.К.) Даль принялся по

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН», установленную заботами первых оренбургских краеведов-пушкинистов, сняли в начале семидесятых прошлого века, отняв у дома «охранную грамоту», а у оренбуржцев — напоминание о приезде великого поэта. Да пусть бы во всеоружии фактов и доказали: «Не останавливался», — лучшего места для увековечивания памяти о национальном гении, чем дом Тимашева, отмеченный многими славными именами, не найти.

В ноябре 1998 года этот дом разрушили, заменив шлакоблочным новоделом, а новая мемориальная доска появилась даже не на фасаде — на торце областного краеведческого музея...

Но вернёмся в пушкинское время, в день 21 сентября 1833 года. «За холмом» остались и Оренбург, и гостеприимные оренбуржцы, пушкинская коляска с курьерской скоростью мчится к Уральску — «начальному гнезду бунта». Можно собраться с мыслями... Почётный казачий конвой, оберегая от пыли, то вырывается вперед, то отстает... Уральская пойма слева, урема, как сказал Даль, словно расцвела яркой роскошной палитрой. «И с каждой осенью я расцветаю вновь; здоровью моему полезен русский холод...».

На полпути от Татищевой до Нижнеозёрной — Чесноковка — бывший форпост. Неподальку от неё, как мираж, возникают белые холмы. Перелистаем страницы «Капитанской дочки»: «Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга». Художественное произведение — не географический атлас, и всё же документальная основа повести держала её создателя в пределах реального. Приметы Белогорской крепости собраны со всех увиденных поэтом крепостей линейной дистанции, но её название — отсюда, от меловых холмов, розово белеющих на закатном солнце.

Нижнеозёрная... Родина его бердинской собеседницы Бунтовой. Кажется, самой природой уготовано здесь место для неприступной «фортеции». Мысом из красного песчаника с двадцатиметровым обрывом станица круто выгибает русло Урала. Рассказы, песни, приметы пылающей

эпохи, сообщённые Пушкину здешними казаками, помогли почувствовать колорит времени, осмыслить народный взгляд на события Крестьянской войны.

В письме к жене из Болдина — последнем из его поездки — Пушкин писал об Уральске: «...тамошний атаман (В.А. Покотилов, предупреждённый Перовским. — В.К.) и казаки приняли меня славно, дали мне два обеда, подпили за моё здоровье, наперерыв давали мне все известия, в которых имел нужду, и накормили меня свежей икрой, при мне изготовленной».

Из своего путешествия поэт увёз в записной книжке две таинственных строфы. Где, на какой версте его дороги не написался — выдохнулся этот мучительно-счастливым избыток жизни?

*Когда б не смутное влеченье*

*Чего-то жаждущей души,*

*Я здесь остался б —*

*наслажденье*

*Вкушать в неведомой тиши:*

*Забыл бы всех желаний трепет,*

*Мечтою б целый мир назвал —*

*И всё бы слушал этот лепет,*

*Всё б эти ножки целовал...*

Он сам определил вдохновение как расположение души к живейшему принятию впечатлений. Мир впечатлений неполон без творческих импровизаций фантазии. Для полноты мира Пушкину — поэту действительности, поэту ясности — не хватало неизъяснимого: «И забываю мир — и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением...». В минуты вдохновенья он готов был дополнить воображением любой неординарный образ до совершенства — в промелькнувшем девичьем лице разглядеть лик мадонны. Гений творит красоту...

Не стала ли героиня этих четверостиший прообразом Маши Мироновой — «капитанской дочки»? Та, которой это было суждено, могла увидеться или пригрезиться поэту в любом месте его дороги от Нижнего Новгорода до Болдина,

не это ли подтверждает и неопределённая географическая пометка под стихами: «1833, сентябрь, дорога»?

«Лицом» этим могли стать и упоминаемая в пушкинском письме городничиха, и поэтесса Фукс (двадцативосьмилетняя, а не «сорокалетняя», как в письме к жене), и «капитанская племянница» Артюхова Анна Ивановна Миллер, которую дядя мог познакомить с поэтом... От образа Маши Мироновой, не поражающей ни умом, ни красотой, веет неизъяснимой душевной прелестью. Этот образ, как магнитом — металлические опилки, выстроил все сюжетные линии повести, и найден он, один из главных образов повести, в уральской поездке поэта.

«Путешествие нужно мне нравственно и физически» ... Он не случайно рвался сюда, к миру искренних, сильных и цельных людей, у которых слово не расходится с делом... Дорога не обманула его, дав ему всё, к чему он стремился — он переполнен («дурь на меня находит») нарастающей полифонией образов Петровской и Екатерининской эпох.

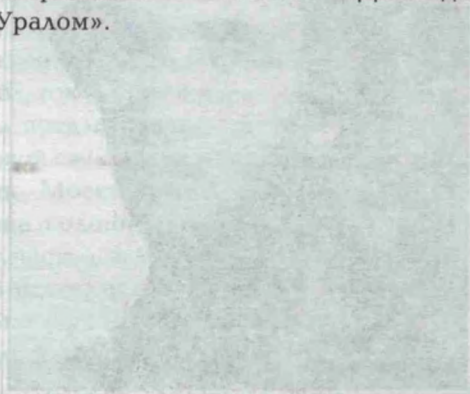
В уже приводимом письме от 2 октября из Болдина поэт в своей манере шуточного снижения как бы в последний раз освобождается от дорожно-художественных наваждений:

«Честь имею донести тебе, что с моей стороны я перед тобою чист, как новорожденный младенец. Дорогою волочился я за одними 70- или 80-летними старухами — а на молоденьких ----- шестидесятилетних и не глядел. В деревне Берде, где Пугачёв простоял шесть месяцев, имел я *une bonn fortune* (*угачу* (франц.) — нашёл 75-летнюю казачку, которая помнит это время, как мы с тобою помним 1830 год. Я от неё не отставал, виноват: и про тебя не подумал. Теперь надеюсь многое привести в порядок, многое написать и потом к тебе с добычею» ... Он ещё не знает: пройдёт несколько дней — и до конца октября, державно взламывая творческие приготовления к пугачёвской теме, его захватит поэма «Медный всадник»...

После счастливой «творческой командировки» на Урал за месяц с небольшим необыкновенно плодотворной «второй Болдинской осени», кроме поэмы «Медный всадник»,

написаны «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», поэма «Анджело», вчерне закончена «История Пугачёва». Пушкинский избыток бытия стал явлением русской литературы.

Весной 1835 года Пушкин писал В.А. Перовскому в Оренбург: «Посылаю тебе «Историю Пугачёва» в память прогулки нашей в Берды; и ещё 3 экземпляра, Даю, Покатилову и тому охотнику, что вальдшнепов сравнивает с Валленштейном или с Кесарем. Жалею, что в Петербурге удалось нам встретиться только на бале. До свидания в степях или над Уралом».



В 1831 году в повести Николая Гоголя «Шеня» описана история бурной жизни в семье бурлацкой девушки. За блестяще вымышленные события ей пришлось заплатить Се. Владимира 4-й степени и перестать бродяжить. Жил в деревне, куда Дале пришла после окончания службы. Он сошёлся с друзьями Пудилова — Иваном Яковлевым и Паскалем Андреевичем и другими. В.А. Перовского — тогда же начал писать в журнале «Русская литература» известность привлекла к нему в 1832 году друзья — так же предшествовало знакомству с другом — переломником. В 1832 году в Петербурге в издательстве «Владимир»

В 1831 году в повести Николая Гоголя «Шеня» описана история бурной жизни в семье бурлацкой девушки. За блестяще вымышленные события ей пришлось заплатить Се. Владимира 4-й степени и перестать бродяжить. Жил в деревне, куда Дале пришла после окончания службы. Он сошёлся с друзьями Пудилова — Иваном Яковлевым и Паскалем Андреевичем и другими. В.А. Перовского — тогда же начал писать в журнале «Русская литература» известность привлекла к нему в 1832 году друзья — так же предшествовало знакомству с другом — переломником. В 1832 году в Петербурге в издательстве «Владимир»



## Подвиг Даля



Знойным сухим летом 1833 года, после скоропостижной смерти военного губернатора графа П. Л. Сухтелена, в Оренбург прибыл назначенный на эту должность генерал-адъютант Василий Алексеевич Перовский. Ещё до его прибытия «первой ласточкой», говорящей о характере будущего управления краем, вышел предложенный им указ об учреждении экстренной почтовой связи между столицей и Оренбургом.

Выпускник Московского университета и Муравьевского училища колонновожатых, В. А. Перовский семнадцатилетним участвовал в Отечественной войне 1812 года. В 1817—1818 годах он, адъютант Великого князя Николая Павловича, был (чудеса русского либерализма! — В. К.) членом тайного декабристского военного общества «Союз благоденствия». В русско-турецкую войну 1828—1829 годов получил тяжёлое ранение. На той же войне был выпускник Морского корпуса и медицинского факультета Дерптского университета Владимир Иванович Даль. Как военному врачу ему кроме всего приходилось бороться с чумой и холерой.

В 1831 году в польском походе Даль под огнём неприятеля навел на бурной Висле понтонный мост собственной конструкции. За блестящее выполнение этого задания он получил орден Св. Владимира 4-й степени и перстень с бриллиантом.

Ещё в Дерпте, куда Даль попал после семи лет службы на флоте, он сошёлся с друзьями Пушкина — поэтом Николаем Языковым и Василием Андреевичем Жуковским — другом В. А. Перовского — тогда же начал писать и печатать стихи. Литературную известность принесли ему в 1832 году «Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приуроченные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владими-

ром Луганским...» Псевдоним напоминал о месте рождения автора в городе Лугани (Луганске) 10 (22) ноября 1801 года.

Оригинальное издание стало поводом для знакомства Даля с Пушкиным. Сказки, в которых всё называлось своими именами, III отделение расценило как «насмешку над правительством». Сборник изъяли из продажи, а автора арестовали. Тогда и вышло из печати, как нельзя более кстати, его «Описание моста, наведённого на реке Висле для перехода отряда генерала Редигера», вскоре переизданное в Париже. Как в своё время мост, предложенный Далем, спас от гибели корпус, так и его «Описание...» выручило автора «Русских сказок» — Николай I вспомнил великолепную переправу. Напомнить ему о скромном военном враче помогло вмешательство Жуковского — в то время наставника наследника престола — будущего Александра II. Современники говорили, что освобождение Даля — ещё одна заслуга Жуковского перед русской литературой.

Итак, «и швец, и жнец, и на дуде игрец», морской офицер, доктор Даль успешно практиковал в Петербургском военно-сухопутном госпитале как хирург-окулист, сталкивался и с холерой... Оренбургскую же губернию после эпидемии холеры 1829—1831 годов зловещая гостья посещала до сентября 1833 года. Да, можно сказать, что Даль, этот «жизнерадостный... и блестящий рассказчик и балагур», знающий латынь, немецкий, французский, английский, украинский, белорусский и польский языки, как чиновник особых поручений был «кадровой удачей» неординарнейшего администратора, «набирающего команду» для нелегкой службы на глухой окраине империи.

В Оренбург приехал сын датчанина и обрусевшей немки с женой-немкой, говорившей на ломаном русском. По словам Екатерины Даль — дочери Владимира Ивановича от второго брака, «тогда в доме отца был ещё в ходу почти только один немецкий язык». В это трудно поверить, зная эволюцию Даля. Но — «Кто на каком языке думает, — говорит он, — тот к тому народу и принадлежит. Я думаю на русском».

Отныне при Дале была «охранная грамота» военного губернатора, предписывающая всем властям на территории



края «... оказывать всякое содействие, по требованию его доставлять всякие необходимые сведения...». И Даль сполна использовал её в первой же своей командировке на две с половиной тысячи вёрст по необозримым степям, знакомясь с жизнью казачьих станиц и казахских кочёвок. За месяц с лишним кочевого быта многое пришлось ему вспомнить из врачебной практики, даже операции на глазах, подтверждая славу, что «у доктора Даля обе руки правые».

Уже к концу первого года в Оренбурге Даль знал башкирский и казахский языки. Родившегося первенца назвал Львом — Василием — Арсланом. Второе имя было в честь крёстного отца, Перовского, а третье — тюркским переводом первого. На крестины пригласили лютеранского пастора, священника и муфтия.

Ещё в 1819 году, возвращаясь домой после окончания Морского корпуса, он, окоченевший от холода, услышал от ямщика успокоительное: «Замолаживает!...». Выяснил, что в Новгородской губернии это означает: пасмурнеет, заволакивается тучами — к теплу. Здесь, в Оренбургском крае, где сошлись наречия выходцев из двадцати губерний, он с самозабвением поэта и педантичностью учёного собирает россыпи народного языкового богатства с его точностью, глубиной, юмором: «Тихвинцы — свято место, где тихвинца нет». «Псковичи — капустаники, мякинники, ершееды, небо кольями подпирали»... Только нравственно здоровый народ может так художественно смеяться над собой.

Закладывалась основа великого труда — «Толкового словаря живого великорусского языка» — по сути, энциклопедии русской Вселенной, русского взгляда на мир, объясняющей 200 тысяч слов, свыше 30 тысяч поговорок, загадок.

Была в характере Даля ломоносовская универсальность, причастность ко всему. Прошло всего несколько месяцев его жизни в Оренбурге, но Пушкину, приехавшему в «полуденные степи», он, как старожил, показывает окрестности, рассказывает о Крестьянской войне. По дороге в Бёрды они обменялись народными вариантами сказок: Пушкин — о Георгии храбром и волке, Даль — «Сказкой о рыбаке и рыбке». Вскоре Пушкин прислал Далю рукопись

этой сказки с надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому — сказочник Александр Пушкин».

Историк П. И. Бартенев утверждает, что «за словарь свой Даль принялся по настоянию Пушкина». В архиве Даля остались запись с пометкой: «Ещё Пугачёвщина, которую я не успел сообщить Пушкину вовремя».

Под белёсым оренбургским небом, на пыльных многоязычных улицах города-крепости и сонных проулках Бердской станицы, в живых дорожных разговорах до Уральска — далеко от «рассеянности света» сердцеведу Пушкину могла вполне открыться эта весёлая, скромная, внимательная и великая душа. Чем иначе объяснить, что Даля, по служебной надобности оказавшегося в Петербурге, смертельно раненный Пушкин не отпускал от себя в последнюю ночь, продержав его руку в своей? Только ли доверием умирающего к врачу? Но рядом были опытные врачи — домашний доктор Спасский и дворцовый лейб-медик Арендт. В ту ночь рядом, за стеной были испытанный друг Жуковский, друг юности Вяземский... Но умер поэт «на руках у Даля», к нему обратил последние слова: «Жизнь кончена!.. Тяжело дышать, давит!»

Нет, не случайно жена поэта Наталья Николаевна передала Далю драгоценную для себя реликвию — перстень с изумрудом — пушкинский талисман, а Жуковский — пробитый пулей Дантеса сюртук поэта...

В ту роковую зиму Далю пришлось заниматься насущными делами командировки: организацией «Музеума естественных произведений Оренбургского края», в частности, через Петербургскую Академию наук подготовкой в Зоологическом музее квалифицированных чучельников из «казахских малолетков».

Самое деятельное участие Даль как учёный-натуралист принимает в формировании фондов музея: ботанической, энтомологической, минералогической коллекций.

В Оренбурге Даль написал учебники зоологии и ботаники — таких пособий русская школа ещё не знала — настолько просто и понятно были изложены предметы. Изучения края — этнографические и исторические изыскания

Даля — проводилось на таком высоком научном уровне, что в 1838 году Российская Академия наук избирает его своим членом-корреспондентом.

А между тем в Оренбурге готовились к военному походу в Хиву. Между Россией и Англией шла тихая дипломатическая война за обладание среднеазиатскими ханствами. Хивинский хан при поддержке англичан грабил русские караваны, а пленники становились живым товаром. Это и стало предлогом похода.

Поход начался глубокой осенью 1839 года. На рассвете 14 ноября пятитысячное войско двинулось в путь. Лил унылый дождь. На следующий день он сменился тридцатиградусным морозом.

Письмо Даля с дороги: «Не ждали вы от меня письма и всего менее, может, думали вечером 25-го ноября, что я сижу почти на открытом воздухе, в кошомной кибитке, при маленьком огоньке, в кругу шести добрых товарищей, на морозе и пишу к вам... Идём войною и грозою на Хиву. Эту дерзкую и вероломную соседку, как названа она в приказе по корпусу. Путь далёк, 1500 вёрст., третьего дня было 29 градусов морозу; весь отряд верхом., вьюки на верблюдах, их до 12 тысяч».

Идут его письма из Хивинского похода. Ничего не упускает острый взгляд: и то, как неумело завьюченные верблюды растирают до костей спины, как глубокие снега лишают их корма, как в сорокоградусные морозы замерзают на постах часовые.

Кончилось топливо. В кибитке Даля учёные жгут футляры от дорогих приборов. «Все поняли, что наступает гибель, но никто ещё не имел малодушия высказать это вслух», — пишет очевидец. Драматизм похода заглушал тоску Даля по умершей после родов жене.

1 февраля 1840 года Перовский был вынужден отдать приказ по корпусу. Чуткий стилист пушкинской школы, он избрал обращение, принятое среди равных, но не свойственное военным приказам: «Товарищи!»... Здесь и рискованная дань либеральной молодости, и скрытая гордая попытка покаяния в провале похода. При всех уходах от правды в приказе

были спасительные для всех слова. «Как ни больно отказаться от ожидавшей нас победы, но мы должны возвратиться на сей раз к своим пределам...»

По словам Екатерины Даль, «помяная об этом, отец всегда в шутку вспоминал слова своей няньки Соломонины: «Послушали бы меня глупую, были бы умные». Первую ошибку он находит в том, что пошли зимой по летней дороге. Во-вторых, что следовало нестись как можно налегке, отправляя больных назад, по дороге в Оренбург. В-третьих, вообще следовало выступить гораздо раньше. В-четвёртых, поход удался бы тогда, если бы все отнеслись к нему равно серьезно».

Заканчивалась оренбургская эпоха жизни Даля. Перед отъездом в Петербург он женился на дочери участника Отечественной войны 1812 года Екатерине Львовне Соколовой. Он отмахнулся от пожалованной ему за участие в походе тысячи десятин земли: «Какой из меня помещик! Лишние заботы старят. Есть и поинтереснее дела».

Ждали его другое великое поле и другая жатва... Даль приехал в столичный Петербург с небывалым багажом — бумажными кипами с записями слов. За десятки лет накопилось много. Ещё в походе 1829 года в военной суматохе у него с товарищем пропал вьючный верблюд. Через треть века Даль вспоминал: «Товарищ мой горевал по любимом кларнете своём, доставшемся, как мы полагали, туркам, а я осиротел с утратой своих записок: о чемоданах своих мы мало заботились. Беседа с солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне обильные запасы для изучения языка, и всё это погибло. К счастью, казаки подхватили где-то верблюда, с кларнетом и записками, и через неделю привели его в Адрианополь. Бывший при нём денщик мой пропал без вести». О судьбе словаря Даля можно сказать: «Бог пути кажет»...

Забегим вперед. В «Напутном слове», читанном в 1862 году в Москве, Даль объясняет общественную нужду в словаре родного языка: «Взгляните на Державина, на Карамзина, на Крылова, на Жуковского, Пушкина и на некоторых нынешних даровитых писателей, не ясно ли, что они избегали чужеречий, что старались, каждый по-своему, писать чистым русским языком? А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и усладою он к ней прислушивался, как одно только кипучее нетерпение заставляло его в то же время прерывать созерца-

ния свои шумным взрывом одобрений и острых замечаний и сравнений — я не раз бывал свидетелем.

...Пришла пора подорожить языком народным и выработать из него язык образованный. Народный язык был доселе в небрежении...».

К Далю вполне применимы слова Вяземского о Пушкине: «Оскорбление русскому языку принимал он за оскорбление, лично ему нанесённое».

Министр просвещения князь Шихматов предложил Далю передать Академии наук свои запасы по принятым расценкам: 15 копеек за слово, пропущенное в словаре Академии. Для сравнения: в начале сороковых годов XIX века сотня яиц стоила 1 рубль, пуд говядины — 2 рубля, пуд мёда — 6 рублей. Даль предложил «отдаться совсем и с запасами, и с посильными трудами своими, в полное распоряжение Академии, не требуя и даже не желая ничего (в этом уточнении весь Даль! — В. К.), кроме необходимого содержания; но на это не согласились, а повторили первое предложение». Из-за огромных запасов — 80 тысяч новых слов, собранных лично Далем, — «делка оборвалась на первой тысяче» слов.

Ещё неизвестно, получили ли бы читатели академический словарь, — судя по отношению к нему Шихматова, дело могли положить в долгий ящик.

«Что же дальше делать? — спрашивал себя Даль и отвечал, — очевидно, надеяться на Бога и на себя, и самому приниматься за дело; я зашёл слишком далеко и деваться некуда...».

Чиновник Даль выполняет обязанности заведующего особой канцелярии Л. А. Перовского, ставшего министром уделов и министром внутренних дел; лексикограф Даль собирает слова; писатель Даль, хотя и отказался от романа, к которому наряду со словарём призывал его Пушкин, пишет прозу. Ему близка «натуральная школа» Гоголя и Белинского, близок так называемый физиологический очерк, в котором человек изображён в своей социальной среде. В петербургской периодике появляются его очерки «Уральский казак», «Денщик», «Русский мужик», одним из лучших признан в 1845 году его очерк «Петербургский дворник» в некрасовском альманахе «Физиология Петербурга». В повестях и рассказах живет его герой — «маленький человек» под гнётом власти.

Гоголь называл творчество Даля «живой и верной статис-

тикой России»: «Каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни». Тургенев так оценил язык писателя: «Слог Даля чисто русский, немножко мешковатый, немножко небрежный (нам крайне нравится эта мешковатость и небрежность), но меткий, живой и ладный...».

На далевских четвергах, собиравших всё талантливое, энергичное из русской интеллигенции, родилась идея организации Русского географического общества. Время географических и естественно-исторических открытий требовало специального научного учреждения для системного изучения России. В члены-учредители общества Даль привлёк и недавнего своего начальника — оренбургского генерал-губернатора В. А. Перовского. 19 сентября 1845 года на квартире Даля состоялось первое официальное собрание учредителей, избравших помощником председателя общества легендарного мореплавателя члена-корреспондента Петербургской Академии наук Ф. П. Литке и кроме пятидесяти одного действительного члена одного почётного — министра внутренних дел Л. А. Перовского — нынешнего начальника Даля. Председательство принял на себя «по Высочайшему соизволению» великий князь Константин Николаевич. Даль стал одним из восьми членов Совета. Обществу было ежегодно назначено из государственного казначейства десять тысяч серебром. Опыт на все времена...

С 1849 по 1859 годы Даль — управляющий удельной конторой в Нижнем Новгороде. Новое его поприще посреди европейской России, на волжской державной дороге русских наречий, среди ежегодных ярмарок многое обещало и многое дало неутомимому собирателю языка.

В 1853 году он предложил Академии наук сборник, включающий 30 130 пословиц и поговорок. Он пытается уберечь сборник от возможных гонений эпитафией: «Пословица несудима», разъясняя идею издания: «Собрание пословиц — это свод народной, опытной премудрости, цвет здорового ума, житейская правда народа», но изданы были «Пословицы русского народа» лишь в 1861 — 1862 годах.

Своих помощников в собирании слов Даль называл «доброхотными дарителями», он мог бы сказать это и о себе. Его ученик и биограф писатель Мельников-Печерский поражался: «Я не знал человека скромнее и нечестолюбивее Даля». Око-

ло тысячи записанных народных сказок тот передал выдающемуся учёному-фольклористу А. Н. Афанасьеву, песни отдал П. В. Киреевскому — автору уникального труда «Песни, собранные Киреевским», лубочные картины — Публичной библиотеке, они стали основой труда Д. А. Ровинского «Русские народные картинки».

Смерть в 1856 году благоволившего к нему Льва Алексеевича Перовского, собственные хвори и конфликт с новым министром вынуждают Даля подать в отставку и в 1859 году поселиться в Москве.

К этому году относится последнее посещение им Оренбурга. Об этом рассказывает дочь Даля Ольга Владимировна Демидова в неопубликованных воспоминаниях, обнаруженных оренбургскими краеведами.

Весной 1859 года, подав прошение об отставке, Даль получил трехмесячный отпуск. Он даже сетовал: «Сорок лет прослужил и только раз брал отпуск, а тут накануне отставки навязывают его мне насильно». В Оренбурге жила сестра Даля — любимая его семейством «танточка» Александра Ивановна с мужем Петром Осиповичем Кюстером. К ним-то и уговорили «дружным напором» перед переездом в Москву съездить на лето в Оренбург отца с матерью подростки дочери Юлия, Мария, Ольга и Екатерина. Сопровождал их брат Лев-Арслан, только что окончивший Академию художеств в Петербурге.

Ольга Владимировна пишет: «Когда город был уже вплоть, мы вышли из тарантасов. Вышла и мать. Они шли под руку с отцом, и он нам рассказывал про Пугачёва... В городе мы пробыли целый день и всё время были на ногах. Отец возил нас по ту сторону Урала на Меновой двор. «Вот мы и в Азии», — сказал батя, едва мы переехали реку, направляясь к хорошенькой небольшой рожице, любимой прогулке городских жителей... Невдалеке была не то ярмарка, не то базар с торговлей в лавках и под открытым небом, где сидели на разостланных коврах киргизы и башкиры, угощаясь восточными лакомствами, и где мы, наконец, увидели живого верблюда не в зверинце, а на воле, как полезное животное». Узнав, что Кюстеры, в свою очередь, выехали в гости к ним, в Нижний Новгород, «с закатом солнца вернулись мы в город, а на рассвете выехали из Оренбурга», чтобы через 120 верст, через степи, напо-

минающие отцу с матерью животворным воздухом своих трав давно прошедшее, попасть в имение тёти...

Между тем, — «муравей невелик, а горы копают», — неподъёмный труд Даля подошёл к концу. Предваряя его отчёт об этом весной 1860 года в Обществе любителей российской словесности, его председатель А. С. Хомяков «задал тон»: «Словарь В. И. Даля отличается от всех, появившихся прежде его: это будет словарь не языка книжного и письменного, но языка устного: в нём выступят ясно и отчётливо всё богатство, вся своеобразность, вся затейливость русского слова. В нём в порядке букв увидим... ту живую мысль, которую привыкли называть языком народным».

В отчёте Даля — этого выдержанного, давно привыкшего взвешивать каждое слово человека — прорывается боль за судьбу отечественного языка — живого организма, — и как современна для нас эта боль: «Коль скоро мы начинаем ловить себя врасплох на том, что мыслим не на своём, а на чужом языке, то мы уже заплатились за языки дорого: если мы не пишем, а только переводим, мы конечно никакого подлинника произвести не в силах, и начинаем духовно пошлеть. Отстав от одного берега и не пристав к другому, мы и остаёмся межееумками».

Первый том словаря увидел свет в 1863 году усилиями Общества любителей российской словесности. Издание оставшихся томов взял на себя Александр II, составителю он пожаловал орденскую ленту.

Издание шло медленно, — «правка такой книги (около 2800 страниц в четырёх томах. — В. К.)... тяжела и мешкотна, тем более для одной пары старых глаз»...

После выхода последнего, четвёртого тома Академия наук единогласно избрала Даля в почётные члены, наградила Ломоносовской премией, а Русское географическое общество — золотой Константиновской медалью. Дерптский университет прислал своему выдающемуся выпускнику Диплом и немецкую премию.

Наконец он смог увидеть дело своей жизни: в 1861 году в Санкт-Петербурге вышло полное собрание его сочинений в восьми томах. Теперь к ним встал словарь, вобравший в себя всё, чем полвека жил его составитель. Его «Толковый словарь...» — как волшебный фонарь, в котором по желанию сме-



няются во всём блеске и всей глубине жизни русские исторические миниатюры...

Он по-прежнему не знает покоя. Когда устаёт за письменным столом — а он готовит второе издание словаря, — идёт в мастерскую своего дома на Пресне. Нога привычно находит подножку токарного станка; ему нравится скипидарный запах стружки, пластичная податливость дерева...

За несколько месяцев до кончины лютеранин Даль принял православие. Конечно, не для того, чтобы упокоиться ближе к своему дому, на Ваганьковском кладбище. Он не мог не принять веры народа, знающего, что «не в силе Бог, а в правде».

По свидетельству Ивана Сергеевича Аксакова, Даль «беспретветно, без судорожных прицепок к жизни, с упованием, верный самому себе, встретил смерть, — и в то же время с обычною точностью расчёта определил заранее день и час кончины и распорядился всеми мелочными подробностями похорон».

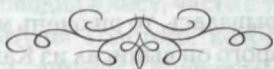
Нечаянными цветами на его могилу видятся строки письма Алексея Константиновича Толстого, драматурга и лирического поэта, автора стихотворений «Колокольчики мои...», «Средь шумного бала...», «То было раннею весной...», ставших популярными романами: «С прискорбием прочли мы в газетах о смерти Даля, которого я знал близко и давно (А.К. Толстой — племянник В.А. Перовского. — В.К.). Своим словарём он оказал русскому слову огромную, ещё небывалую услугу... Я припас было для него до 50-ти слов, им пропущенных; быть может, найду ещё и более, но не знаю, кто теперь его продолжитель и кому мне их передать? А он с удовольствием принимал от меня подносимые ему слова».

«Толковый словарь живого великорусского языка» — единственный в мире лексикографический и этнографический музей русской и российской вселенной. Слово «подвиг» в нём толкуется как «доблестный поступок, дело или важное славное деяние». Думается, более точного определения для всей жизни самого Владимира Ивановича Даля не найти.



ТОЛСТОЙ  
Алексей Константинович  
(1817 — 1875)

## «Служа таинственной отчизне...»



С 1853 года в российских столичных журналах начали появляться стихи, подписанные именем «Граф Толстой». Вот и в 1856 году читатели «Отечественных записок» увидели в пятом номере стихотворение с начальной строкой: «Средь шумного бала, случайно...», обратившее на себя всеобщее внимание. Незадолго до этого публицист А. И. Кошелев писал историку А. Н. Попову: «Мы все в восторге от стихов графа Толстого... Как его зовут? Кто он такой? Стихи его, помещённые в «Современнике», просто чудо. Хомяков, Аксаков (Константин, старший сын С. Т. Аксакова. — В. К.) их все наизусть знают. Хомяков... говорит: «После Пушкина мы таких стихов не читали...».

На далёкой окраине империи у читающих обитателей Оренбурга, отделённых от столицы «дорогами, превосходящими всё самое чудовищное, что может создать самое горячее воображение», были свои основания заинтересоваться публикациями. В 1842 году они впервые увидели это имя под очерком «Два дня в киргизской степи», со страниц которого пахнуло кизячным дымком степных просторов, экзотикой Востока — неведомой для остальной России жизнью, открытой недавно в журнальной периодике Владимиром Далем. За год до того военный губернатор В. А. Перовский, завершая своё первое правление краем, пригласил к себе на кочёвку — летнюю резиденцию на речке Белгуш (ныне Саракташский район Оренбуржья. — В. К.) — своего племянника по родной сестре Анне Алексеевне, тогда двадцатитрёхлетнего чиновника собственной Его Императорского Величества канцелярии Алексея Толстого, «любезного хашку, милого ханчика», как звал воспитанника другой дядя, Алексей Перовский.

Приехавший из Оренбурга в июне 1841 года гость написал своему сослуживцу по канцелярии (приведённые выше про-

на дворе, на свежем сене и заснули под говор атамана, рассказывающего нам, как его взяли в плен киргизы и как он от них убежал.

Солнце едва начинало всходить, а тарантас наш уже ехал по берегу Урала, окружённый конвоем башкирцев. Переезд через реку был как нельзя более живописен. Крутые берега утёса, тарантас, до половины колёс погружённый в воду, прыгающие лошади, башкирцы, вооружённые луками, наши ружья и сверкающие кинжалы — всё это, освещённое восходящим солнцем, составляло прекрасную и оригинальную картину. Урал в этом месте (Коктугайский брод. — В. К.) не широк, но так быстр, что нас едва не унесло течением.

На другой стороне степь приняла совершенно иной вид. Дорога скоро исчезла, и мы ехали целиком по крепкой глинистой почве, едва покрытой сожжённой солнцем травой. Степь рисовалась перед нами во всём своём необъятном величии, подобная слегка взволнованному морю. Вдруг один башкирец остановил коня и протянул руку. Последовав глазами направлению его пальца, я увидел несколько светло-жёлтых точек, движущихся на горизонте: то были сайгаки. Один из нас сел на башкирскую лошадь, в надежде, что успеет как-нибудь к ним подъехать, но едва сайгаки увидели эти приготовления, как пустились бежать, несмотря, что нас разделяло несколько вёрст...».

Охотники разбили стан у подножья высокого, протяжённого, сложенного из яшмы утеса Кук-Таш (Синий Камень). В полуденную жару поэт наблюдал, как сайгаки «бежали к ручью огромными стадами. Чем более я всматривался вдаль, тем более открывал их на горизонте; они тянулись отовсюду. Вся степь, исключая какого-нибудь десятивёрстного пространства вокруг нас, была ими покрыта. Я думаю, тут было несколько тысяч».

Это была уже другая охота. Несмотря на скорость бега и чуткость животных, в первый день сорок охотников убили более пятидесяти сайгаков, на второй день — более ста, и нескольких — сам рассказчик. «Обед наш состоял большей частью из сайгачины». После обеда башкирцы соревновались в стрельбе из лука, борьбе и «пробованию силы».

Здесь Толстой несколько раз выходил победителем, получив от башкир «имя джигита».

Лирическое окончание очерка близко к поэзии в прозе: «Когда настала ночь, мы все вместе направились верхами в Сухореченскую крепость. Казаки затянули песню, и голоса их терялись в необъятном пространстве, не повторяемые ни одним отголоском... Песни эти отзывались то глубоким унынием, то отчаянной удалью и время от времени были приправляемы такими энергическими словами, каких нельзя и повторить. Поезд этот запечатлелся в моей памяти со всеми его подробностями. Как теперь вижу я небо, усеянное звёздами, и степь, похожую на открытое море; как теперь слышу слова:

*Дай нам Бог, казаченькам, пожить да послужить,  
На своей сторонухе головки положить...»*

Ни это путешествие, ни проба пера не были первыми для Толстого. Он родился в Санкт-Петербурге 24 августа (5 сентября) 1817 года. После рождения сына мать разошлась с мужем, графом К. П. Толстым. Алёшу воспитывал её брат Алексей Перовский, писатель, публиковавшийся под псевдонимом Антоний Погорельский, автор известной детской сказки «Чёрная курица, или Подземные жители». Малороссию (Украину), где поэт провёл счастливые детские годы, он считал «своей настоящей родиной». Подростком он был представлен будущему императору Александру II, своему ровеснику, допущен в круг его детских общений. В десятилетнем возрасте мать с дядей взяли его в Германию, где в Веймаре очень юный поэт («с шестилетнего возраста я начал марать бумагу и писать стихи») сидел на коленях у Гёте, переводами из которого отозвался через сорок лет.

Тринадцатилетним Алексей Толстой с матерью и дядей путешествовал по Италии. Это были два феерических месяца! Живое знакомство с греческой и римской историей, древностями искусства — на открытом воздухе и в музеях, посещения всемирно известных галерей живописи и мастерских художников, общение с друзьями Пушкина — Соболевским, Шевыревым, Карлом Брюлловым... Весной 1831 года он как бы

прошёл университетский курс и в дневнике, неожиданно зрелом, показал, что умеет смотреть, чувствовать и мыслить.

Он уже тогда знал, что «нет другой такой вещи, для которой стоило бы жить, кроме искусства».

Из письма Толстого к будущей жене Софье Андреевне Миллер: «Во мне есть постоянная грусть каждого мгновения; никогда, с тех пор, как я стал мыслить, а началось это в ранней юности, я не был в согласии с самим собой...». Да, его творчество полно драматизма жизни, но в быту, в дружеской переписке «бьёт фонтан» юмора, иронии, остроумной веселости до озорства. Он объяснял это так: «Я понимаю, отчего натуры такие глубоко печальные, как Мольер и Гоголь, могли быть такими комиками. Чтобы хорошо передать что-нибудь... нужно быть вне этого, так же, как надо выйти из дому, чтобы срисовать фасад здания». Отсюда на противоположном от его «серьёзных жанров» полюсе — уникальное явление Козьмы Пруткова, чьи афоризмы в начале XXI века с рекламным отсутствием меры прокатывало современное радио.

Миф Козьмы Пруткова родился в шумных дружеских сходках молодых, даровитых и фрондирующих аристократов братьев Жемчужниковых — Алексея и Владимира, иногда к ним присоединялся третий брат Александр, и их двоюродного брата Алексея Толстого. Владимир Жемчужников, составивший «Полное собрание сочинений» Козьмы Пруткова, первое издание которого вышло в 1884 году, а двенадцатое (!) — в 1916-м, объяснял, что их герой «художнически создавался» в той эпохе, «когда всякий без малейшей подготовки брал на себя всевозможные обязанности (как это знакомо! — В. К.), если Начальство на него их налагало...». Девиз одного из таких высокопоставленных чиновников — Клейнмихеля — «Усердие всё превозмогает» они сделали афоризмом своего подопечного.

Дух Пруткова витал, где хотел, во всей литературе послепушкинских 40–50-х годов. Всё, к чему прикасался он, «разрабатывая темы» оригинальной и подражательной поэзии, вульгарного романтизма, модного культа поэзии Гейне, культов Греции и Испании, обретало выражение «гениаль-

ного идиотизма». Создатели Пруткова знали тайны соседства великого и смешного. Да, «эолова арфа», отзывающаяся на всё, но — безнадежно расстроенная...

Отзываясь на всё и всё доводя до абсурда, Козьма Прутков, по замыслу «отцов-создателей», оставался самим собой: отставным гусаром, пожизненным директором Пробирной палатки, действительным статским советником со Св. Станиславом I степени, тщеславным и самодовольным, самоуверенным до грубости. В горделивой позе его портрета можно усмотреть доведенные до предела самонадеянной ограниченности черты пародируемого романтического поэта Бенедиктова. Не стареет один из «прутковских шедевров», вышедший из-под пера Толстого:

*«Вы любите ли сыр?» —  
спросили раз ханжу,  
«Люблю, — ответил он, —  
я вкус в нём нахожу».*

К «прутковкиане» тяготеет толстовская озорная сатира: «Сон Попова», «История государства Российского от Гостымысла до Тимашева»...

Время несло и свои печали. В декабре 1857 года окончился земной путь пламенного Перовского, дважды управлявшего Оренбургским краем. Современник писал: «Он скончался в Ореанде, императорской вилле, на Южном берегу «Крыма» и похоронен в церкви монастыря Святого Георгия (близ Севастополя. — В.К.). Умер он как герой и как философ: своему врачу... велел... сказать час или по крайней мере день смерти, заранее заказал гроб... сделал все распоряжения относительно наследства и скромных похорон и спокойно испустил дух».

Толстой — Софье Миллер: «...Сегодня мы отнесли дядю в церковь; мы несли его на руках; дорога была покрыта зеленью — лавровые ветки, ветки розмарина в цвету... Сад полон птицами, которые щебечут, особенно много дроздов. В лучах солнца пляшут мириады мушек...».

Жизнь, как всегда, спорила с тлением... С дядей он хоронил, может быть, самое противоречивое из поколений России. Монархисты без страха и упрека, герои-победители в Отече-

ственной войне 1812 года, они, возвращаясь из побеждённой либеральной Франции, принесли в душах семена грядущих поражений.

Чуткий художник Толстой, на которого время часто смотрело глазами братьев Перовских, был во многом сыном этих противоречий. Он публиковал свои былины в «Вестнике Европы» западника Стасюлевича, он отстаивал европейский путь развития России, иронизировал над «кучерской одеждой, в которой щеголяли... Константин Аксаков и Хомяков» — славянофилы, но был ли он западником? С 1857 года он перестал печататься в «Современнике» Некрасова — «наши пути разные...». В письме 1868 года уверяет поэта Полонского, что искусство «не умрёт и не может умереть, как бы там ни старались Чернышевские и Писаревы».

В начале 1859 года, после закрытия славянофильской газеты «Парус», Толстой пишет исповедальное стихотворение, посвящённое её редактору Ивану Аксакову и демонстративно, не боясь монаршего гнева, выносит посвящение в название. Обращаясь к Аксакову, Толстой разделяет его «гражданские стремленья и честной речи трезвый звук», но сам он, «служа таинственной Отчизне», слышит «иной глас», невыразимый «на ежедневном языке».

Понятно, что каждому из противостоящих лагерей было лестно иметь на своей стороне глашатая живого слова. Поэт отвечал:

*Двух станов не боец, но только гость случайный,  
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,  
Но спор с обоими досель мой жребий тайный,  
И к клятве ни один не мог меня привлечь;  
Союза полного не будет между нами —  
Не купленный никем, под чьё б ни стал я знамя,  
Пристрастной ревности грузей не в силах снести,  
Я знамени врага отстаивал бы честь!*

«Таинственная отчизна» грезилась поэту в домонгольской Руси с подлинно народной демократией народного вече, в Киевском великом княжестве, «когда мы ещё были честными».

Один из его любимых героев этой «таинственной от-



чизны» — богатырь Илья Муромец из одноименной баллады, суровый независимый бессребреник, которому душно на «князем дворе», для которого высшая ценность — «волюшка моя». Не нужно больших усилий, чтобы разглядеть в Илье самого поэта — «одного в поле воина», во всех жанрах отстаивающего с художественной силой народные идеалы.

«Особая позиция» определяла и отношения Толстого с государем. Они отличались той «благородной непоследовательностью», которую поэт видел в близком для себя образе князя Серебряного из своего одноимённого романа (1862): «Серебряный... разделял убеждения своего века в божественной неприкосновенности прав Иоанна, никогда не выходил преднамеренно из повиновения царю... Но, несмотря на это, каждый раз, когда сталкивался с явной несправедливостью, душа его вскипала негодованием, и врождённая прямота брала верх над правилами, принятыми на веру».

Близость ко двору Толстой использовал, хлопоча о возвращении из ссылки Тараса Шевченко, вступался и за славянофила Ивана Аксакова, и за «европейца» Ивана Тургенева. В 1861 году писатель, имеющий к тому времени придворное звание егермейстера, обратился к Александру II с просьбой об отставке: «Служба и искусство несовместимы...», взамен он обещал «говорить во что бы то ни стало правду». Отставку поэт получил. О готовности же выслушивать правду говорят запрещения к постановке его драм «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». Первая из них после революции не сходила со сцены весь XX век.

Его творчество и, прежде всего, лирика, дышало его судьбой. Стихотворение «Средь шумного бала, случайно...» — будущий русский романс на музыку Петра Чайковского — стало отражением переживаний поэта после знакомства на балу-маскараде зимой 1850-51 годов с Софьей Андреевной, урождённой Бахметевой, по мужу Миллер. Ей было 24 года, брак её был опрометчивым, вызван сердечной драмой, из-за которой погиб на дуэли её брат. Скоро они с мужем разошлись, не оформив развода.

Толстого потянуло к ней, «как больное животное инстинктивно распознаёт растение, которое поможет ему вы-

лечиться». Она знала четырнадцать языков, бегло, безукоризненно переводила «с листа», любила мировую историю, литературу, искусство, была незаурядно музыкально образована — низкие, мягкие, сочные тона её голоса волновали не только Толстого. Состояние, близкое к влюбленности в неё и полному доверию испытывали многие из окружения поэта. Она не была красивой — качества ума, доброта, грация делали её прекрасной.

У них была почти невозможная между мужчиной и женщиной любовь-дружба: «Я ощущаю такую потребность говорить с тобой о искусстве, о поэзии, поделиться с тобой всеми моими мыслями...». Главный мотив его писем в их громадной по объёму переписке один: «Я всё отношу к тебе: славу, счастье, существование, без тебя ничего не останется, и я себе сделаю отвратительным».

И тем не менее одна женщина испытывала непреодолимую неприязнь к Софье Миллер — мать Толстого, которая и слышать не могла об этом браке сына. Поэт любил их обеих, и душа его, по свидетельству Владимира Жемчужникова, «разрывалась на части».

В Крымскую войну, в 1855 году Толстой в чине майора направился в действующую армию. Под Одессой, из-за отсутствия докторов ухаживая за тифозными однополчанами, заразился сам. Болезнь выкосила полторы тысячи из состава полка — больше половины, «без ухода» умирали «по 20 зараз». Приехавшая в полк, несмотря на опасность заразиться, на светские условности и двусмысленность их положения, Софья Андреевна выходила больного.

Вскоре после смерти матери Толстого закончилось мучительное противостояние троих, но узаконить брак любящие смогли только весной 1863 года. Наконец-то стало возможным «больше не держать в тайне... женитьбу на Софье Андреевне». Через четыре года выйдет его единственный прижизненный сборник стихов, где почти вся любовная лирика вызвана ею и посвящена ей.

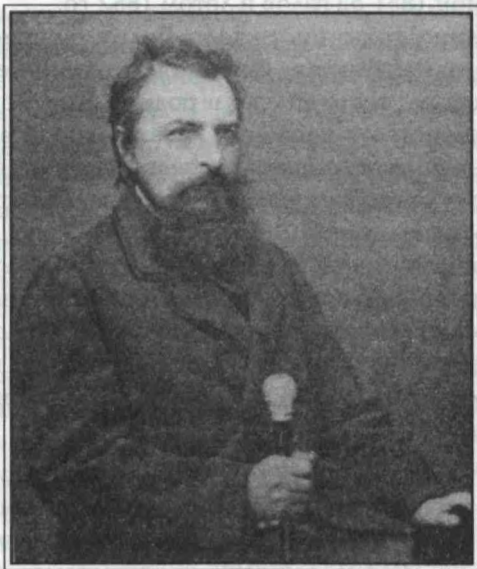
Стихия любви — мелодичная стихия; больше половины его стихов положено на музыку, зачастую по нескольку раз Чайковским, Римским-Корсаковым, Мусоргским, Балакире-

вым, Танеевым, Рахманиновым и ещё многими композиторами. Будет в этом сборнике и ставшее песней хрестоматийное стихотворение «Колокольчики мои...» с явными следами оренбургских впечатлений. В Оренбурге он ещё побывал дважды: зимой 1851-52 годов и летом 1852-го.

В последние годы он тяжело болел, в поисках лечения много ездил: Англия, Франция, Италия, Германия, — но душа была на месте только в родном Красном Роге. Он любил одиночество в весенних лесах — при свете костра и полной луны, и как «потом всё просыпается, журавли трубят в горн, утки дуют в трубы, дрозды играют на гобоях, а соловьи — на флейтах».

Богатырь духа, как и его герои, он в своей «таинственной отчизне» жил любовью: «Думая о тебе, я в твоём образе не вижу ни одной тени, ни одной, всё лишь свет и счастье...».

Великий современник философ Карлейль назвал бы его жизнь героической, и это так. Жизнь героя-писателя состоялась.



ГРИГОРЬЕВ

Аполлон Александрович  
(1822 — 1864)

существовал доктором, убожестве одного из них, заратился сам. Боже, Боже! — Мирная — состав цемента — больше помощи — мирная — 20 лет. Приехавшая в полк, несмотря на опасность веревки на свесные условия и дурные условия их возможности. Софья Александровна издала большого.

Вскоре после смерти матери Григорьев женился на Софье Александровне, которая была вдовой. Брак этот был заключен только весной 1863 года. Наконiec он стал невозможным, а потому не держат в тайне... женитьбу на Софье Александровне. Через четыре года выдал его единственной приличнейшей сборник стихов, где почти все любовные стихи выйдут — и испарились ей.

— Стихи любви — молодая стихия: больше владения, это стихи молодости на музыку. Улыбаю на несомнужу раз Чайковский, Рахманинов, Корсаков, Мусоргский, Балакирев.

## Ненужный человек



Прав поэт, странные сближения предлагает порой жизнь: когда дорожный экипаж с Аполлоном Григорьевым, по собственному признанию, «человеком невзвужданных стихий», миновал громоздкие Сакмарские ворота города-крепости, здесь... ломали крепостной вал...

*Ты помнишь ли, как мы с тобой  
Въезжали в город тот степной  
Я думал: вот пршот покоя;  
Здесь буду жить да поживать,  
Пожалуй, даже... прозябать,  
Не корча из себя героя.  
Лишь жить бы честно...*

Так, в июне 1861 года в крепости, доживающей последние дни, появился коллежский ассессор Аполлон Александров Григорьев, одутловатый, светло-русый господин с открытым, напряжённым взглядом серых глаз — новый преподаватель русской словесности Неплюевского кадетского корпуса, один из оригинальнейших умов России.

Едва ли несколько оренбуржцев — читателей журналов «Русская беседа», «Библиотека для чтения», «Русское слово» знали Аполлона Григорьева как поэта или автора критических статей. Не сразу узнал оренбургский свет, что новый учитель играл и пел под гитару.

Да, недаром в родной белокаменной он пропадал в цыганском хоре приятеля своего Ивана Васильева. Без него, Васильева, григорьевские стихи «О, говори, хоть ты со мной» и «Цыганская венгерка» не обрели бы таких органичных, будто родившихся вместе с текстом мелодий.

У Аполлона Григорьева было всё для блестящей карьеры. Сын дворянина и крепостной (родился он 16 (28) июля 1822 года), с отличием закончил юридический факультет Мо-

сковского университета, увлекался вместе с языками французской и немецкой литературой и философией, Гегелем, позже — Шеллингом. К зрелым годам добавилось знание английского и итальянского языков. Сразу после учёбы поступил на службу в университетскую библиотеку, а через год стал секретарём Совета университета. Но спокойному, обеспеченному будущему он предпочёл полную неожиданностей жизнь литератора.

«Великолепно», — скажет в начале XX века Блок о раннем стихотворении двадцатилетнего Григорьева «Е. С. Р.», открывающем его любовную лирику. Богом поэта была любовь. «Последнего романтика», как он себя называл, влекли типы женщин, словно обречённых на холодность, но, странно, как будто именно эта холодность и вызывала его «истерзанность тоскою», «ночи стонов безумных»... Одной из первых в этом ряду стала «крестовая сестра» Лиза, которой в стихотворении «Е. С. Р.» он писал: «Да, я знаю, что с тобою связан я душой; между вечностью и мною встанет образ твой». Лизу выдали замуж за армейского офицера, — правда, на свадьбе она призналась в любви другу Григорьева Фету.

Скорее всего, ещё студентом Григорьев влюбился в Антонину Корш, которой посвятил многие свои «напряжённейшие» стихотворения. Возлюбленная вскоре вышла замуж за друга поэта — историка и публициста Кавелина. С этой любовной драмой в 1844 году связан переезд поэта из Москвы в Петербург, где впервые широко в разных журналах появляются его стихи и переводы, рассказы, повести, критические статьи.

Вернулся в Москву Григорьев только в январе 1847 года и в том же году женился на сестре Антонины Корш — Лидии, давно интересующейся им. Их «безупречная семейная жизнь» вскоре сменилась охлаждением, а потом и враждебностью. Нет, не здесь «метеорному» поэту было обещано счастье. Счастье, а вернее, «артистическое упоение», он всё больше убеждался в этом, грезилось в искусстве — романтической незаёмной страсти, глубине и силе чувств.

Его широкая импульсивная натура во всём требовала предельного самовыражения: если стихи, то, его же словами, «замечательные искренностью чувств», если статьи, то «яркие», «горячие». Он не останавливался перед введением в обиход новых слов и оборотов: «веяние эпохи», «живорождённые», «растительная поэзия»... Привычное для нас слово *донотоп*

ный ввёл Григорьев, вызвав неизменные в подобных случаях насмешки рационально настроенных оппонентов, в частности, Добролюбова.

В литературно-общественной борьбе, не прекращающейся и поныне, Григорьев занимал особое место. Он не разделял крайних взглядов ни западников, ни славянофилов; первых он называл «воровскими людьми» (от старинного значения *вор* — мятежный. — В. К.), «клеветами Сигизмунда» (польского короля, одного из организаторов военной интервенции в Россию начала XVII в. — В. К.); радикалов, требующих немедленных демократических преобразований, особенно сотрудников Некрасовского «Современника», звал «тушинцами» — то есть русскими перебежчиками в Тушинский лагерь поляков, осаждавших с Сигизмундом Москву.

Славянофильство же, писал он профессору Московского университета М. П. Погодину, «становится мне отчасти смешно, отчасти ненавистно как барство, с одной стороны, и пуританство, с другой». Вообще, Григорьев не признавал теоретиков любых направлений, считая, что теории сдерживают живую жизнь.

По общественным и литературным убеждениям Григорьев относил себя «гораздо более к пушкинской, чем к современной эпохе». Конец пятидесятых годов XIX века стал для пушкинского наследия временем серьезных испытаний. Демократические критики видели в Пушкине недостаточную образованность и непонятность для народа (!), другие делали из него приверженца «искусства для искусства», третьи, как Д. И. Писарев, заявляли о «неполезности» Пушкина для общества.

В первой статье своего обзора «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» в журнале «Русское слово» в 1859 году Григорьев скажет фразу-афоризм, ставшую с тех пор неким ключом к явлению Пушкина и общественно востребованную, с разными целями, только на переходе в XXI век: «Пушкин — наше всё».

Необходимо хотя бы немного расширить эту метафору, удивительную тем, что прошедшие более чем полтора века российских катастроф подтвердили её с точностью ясновидения: «А Пушкин — наше всё: Пушкин — представитель всего нашего *душевного, особенного*, такого, что остаётся нашим *душевым, особенным* после всех столкновений с чужим, с другими

мирами. Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, — всё то, что принять следует, отбрасывавший всё, что отбросить следует...».

Нельзя не заметить органического сродства их мироощущений. Вспомним Пушкинское: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». У Григорьева: «Наши мысли вообще (если они точно мысли, а не баловство одно) суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, *вымучившиеся* до формул и определений». У него же: «За высказанную мысль надобно отвечать перед Богом».

В первой половине пятидесятых годов Григорьев сошёлся, сдружился с талантливой «молодой редакцией», как её называли, журнала «Москвитянин», основанного Погодиным. По убеждению Григорьева, «единственным коногоном» для молодёжи был художественный идеолог журнала драматург Александр Островский. Уже первой своей пьесой «Не в свои сани не садись» он потряс публику новой национальной драматургией, в стихии которой актёры могли «жить, а не играть», а зрители — сопереживать, а не развлекаться. Это была невиданная на сцене жизненная правда искусства. До 1855 года в «Москвитянине» Григорьев с «энергией деятельности» опубликовал около ста статей и рецензий, стихотворений и переводов.

Как всегда, у его лирики был внутренний адресат. В 1850 году он познакомился с дочерью своего сослуживца по Московскому воспитательному дому Леонидой Визард, «единственно путной женщиной», как писал позже. Для него началась «настоящая молодость, с жадной настоящей жизни». Это не помешало девушке остаться равнодушной к чувствам поэта и в 1855 году выйти замуж за драматурга Владыкина. Вместе с крахом «Москвитянина», а он перестал выходить в начале того же года, это была катастрофа... Годами позже в письме из Оренбурга он вспомнит это время: «О мой старый «Москвитянин» зелёного цвета, — «Москвитянин», в котором мы тогда крепко, общинно соединённые, так смело выставляли знаки самобытности и непосредственности, так честно и горячо ратовали за единственно правое и святое дело, — о время пламенных верований, хотя и смутных, время жизни по душе и по сердцу»...



Поиски по редакциям «честного куска хлеба»... Публикация «одной из серьёзнейших статей» «Об искренности в искусстве», замолчанной всеми... Тяжбы с бывшей женой... Спасением в 1857 году стало предложение сопровождать в поездке за границу семейство Трубецких — воспитателем юного князя.

Через Петербург, Берлин, Прагу, Вену — в Венецию, Геную, Ливорно!.. Он «успел полюбить страстно и всей душою Италию — хоть часто мучился каинской тоской одиночества и любви к родине». Во Флоренции — потрясение до слёз живописной мадонной Мурильо — испанского художника XVII века:

*Глубокий мрак, но из него возник  
Твой девственный, болезненно-прозрачный  
И дышащий глубокой тайной лик...  
Глубокий мрак, и ты из бездны мрачной  
Выходишь, как лучи зари, светла;  
Не связью страшной, неразрывно-брачной  
С тобой навеки сочеталась мгла...*

В русской поэзии, давшей миру совершенные создания слова с его музыкой и пластикой, — немного подобных шедевров. В этом, проступившем из мрака хаоса женском образе поэт увидел загадку, томившую его всю жизнь: гармонию, в которой «есть семя разрушенья». В ней, его мадонне, слились и навсегда потерянная «неотвязная мучительница» Леонида Визард, и болезненный лик русской девушки из Флоренции Мельниковой, рядом с которой он начал было снова жить «всей полнотой страсти», упиваясь её безнадежностью.

*О, помолись!..  
Недаром ты светла  
Выходишь вся из мрака чёрной ночи,  
Недаром грусть туманом залегла  
Вкруг твоего прозрачного чела  
И влагою сияющие очи  
Болезненной и страстной облила!*

«Возврат (из Италии. — В.К.) вообще был блистательный», — писал Григорьев в «Кратком послужном списке на память моим старым и новым друзьям». В доверительном письме к Погодину другое: «Разбитый, без средств, без цели, без завтра... На родину ведь я являлся бесполезным человеком —

с развитым чувством изящного, с оригинальным, но несколько капризно-оригинальным взглядом на искусство, — с общественными идеалами прежними.., но разновременными и, во всяком случае, несвоевременными...».

А что же «блистательный возврат»? Он был, — истинному художнику в счастливые минуты открывается будущее. Он возвращался автором «Цыганской венгерки» — «метеорской кабацкой поэмы звуков безысходного отчаяния» и романа «О, говори хоть ты со мной», которые Блок считал «единственными в своем роде перлами русской лирики» (не случайно через столетие широко озвученных Владимиром Высоцким); цикла стихотворений «Титания», «Борьба», «Импровизации странствующего романтика», навеянных или посвящённых Л. Я. Визард, «серьезнейших», с заглядом в завтра критических статей, которые, он знал, останутся...

Тем более мстила ему быстротекущая действительность. Он прибавался на месяцы журнального сотрудничества то в Петербурге, то в Москве, везде убеждаясь, что время идёт по чуждым путям. С горечью писал Погодину о ещё недавних единомышленниках и о себе, «который служил и будет служить всегда одному направлению, зная, что в своих-то он и не найдёт поддержки».

Год 1861-й начался с долговой тюрьмы. В Петербурге оставаться не было сил, он впервые мечтал о покое.

В Оренбург он ехал, или, скорее, «бежал» не на пустое место. Он всегда жил «под впечатлениями литературными». С «Капитанской дочки», прочитанной в отрочестве, глуше Оренбурга, казалось, ничего не могло быть. «Семейная хроника» С. Т. Аксакова напоминала родное: «Дед... в общих чертах удивительно походил на старика Багрова». Прошлой зимой в Обществе любителей российской словесности В. И. Даль докладывал о своём Толковом словаре, на треть собранном в Оренбургском крае. Энергичное заступничество Погодина, «в лицах» рассказавшего об этом Григорьеву, перевесило в пользу издания этого титанического труда.

Но одно дело поэтическая подоплёка, другое — пошлая действительность. Заботила его спутница, Мария Фёдоровна Дубровская, с которой он, «не спросився броду, кинулся в воду»

оренбургской неизвестности. В начале пятьдесят девятого, взятый за сердце «профилем цыганки, какой-то грустной красотой», он вырвал её, недавнюю уездную барышню, «из нумеров», спасая от самой себя:

*Не прихоть, не любовь, не страсть  
Заставили впервые пасть  
Тебя, несчастное создание...  
То злость была на жребий свой  
Да мишурой и суетой  
Безумное очарованье.*

Сейчас, пожалуй, их горячие головы объединяла выбитость из колеи. Уже из Оренбурга поэт писал новому другу — философу и публицисту Николаю Страхову: «...Причины более глубокие, чем личные невзгоды и разочарование, заставили меня осудить себя на добровольную ссылку; ... главная вина, (причина причин) моего решения была — сознание своей ненужности».

Аполлон Григорьев оказался одним из немногих, у кого нашлись силы «шагать не в ногу» с веком, со второй половины 50-х годов устремившемся к революционному апокалипсису. Мало кого интересовало, что поэту пророчески «неведомая даль грядущих дней обнажена».

В письмах Страхову, отправленных из Оренбурга, — нервные узлы времени. Одиноким воин, он изнемогает под бременем «самостояния». Июля 18: «...Что тебе сказать о себе? Хандра — вот почти одно, что выражает моё душевное состояние, — хандра полнейшей безнадежности с неутомимой жаждой какой-либо веры. Житие веду я трезвое...».

Августа 12: «Твою статью о Чернышевском, сведённом с Д. Писаревым, читал я два раза — и лично я ей крайне доволен, но вместе с тем убеждён в том, что это им (революционным демократам. — В.К.) — к стене горох! Минута принадлежит им. Минута эта пройдёт — но увы! и мы пройдем!.. Материализм ты выводил на свежую воду — да этим им теперь не повредишь». Сентября 23: «В эти две недели воспоследовали опять каинская тоска, приливы желчи и, стало быть, прилив служения Лизю... Общество здешнее я мало знаю, да

и знать-то не хочу... Город прескучный, в особенности для меня... Мне старый собор нужен, — старые образа в окладах с сумрачными ликами, — следы истории нужны, хоть, пожалуй, и «жестokie», да типические». Декабря 12: «Медленно идут мои работы... Кроме четверга я занят *по вся дни живота моего* от 9 до 12 утром и от 4 до 7 после обеда в корпусе. Согласись, что тут поневоле представляет человек измученную кобылу. Но так или иначе, а статья о Толстом, и большущая, поспеет к февральской книжке (журнала «Время». — В. К.) — непременно!.. Я горжусь тем, что во времена хандры и омерзения к российской словесности я способен пить мёртвую, нищатья, но не написать в жизнь свою ни одной строчки, в которую я бы не верил от искреннего сердца...

А поэзия уходит из мира. Вот я теперь с любовью перевожу одного из трёх (Байрона. — В. К.) последних настоящих поэтов (т. е. с Мицкевичем и Пушкиным купно), — я переживаю былую эпоху молодости и *понимаю*, с какой холодностью отнесётся современное молодое поколение к этим пламенным строфам..., к этой лихорадочной тревоге, ко всему тому, чем мы жили, по чему мы *строили* свою жизнь... Всё это не нужно».

Декабря 15: «...Меня опять прорвёт на несколько месяцев — будет ещё, между прочим, несколько небольших статей за подписью «Ненужного человека».

А жизнь, между тем, предъявляла свои права. Бульварно изменившая, пьющая жена, Лидия Корш, издаликала жаловалась в Оренбург генерал-губернатору Безаку на отсутствие помощи от мужа. Живущая же рядом, ещё недавно лихорадочно любящая и любимая женщина из-за «проклятой претензии жить не хуже других» готова была снова пойти на улицу. Как ни заклинает поэт духов тьмы: «В жизни есть что-нибудь повыше личного страдания», силы его на исходе: «Хожу по классу и диктую грамматические примеры, — а что-то давит грудь, подступает к горлу и, того гляди, прорвётся истерическими рыданиями».

Из письма к Погодину: «Из пятидесяти семи жалованья в месяц немного сделаешь, особенно в Оренбурге, граде во все не дешёвом. К январю у меня будут ещё уроки в Киргиз-

ской школе рублей на двадцать пять, да напишу что-нибудь».

Перед Рождеством 1861 года обыватели увидели необыкновенные афиши: «В зале Оренбургского благородного собрания преподаватель Неплюевского кадетского корпуса Аполлон Григорьев будет иметь честь в пользу бедных г. Оренбурга читать публичные лекции «О Пушкине и его значении в нашей литературе и жизни».

Первая лекция «Значение Пушкина вообще и причины разнородных толков о нём в настоящую минуту», вторая — «Пушкин как наш эстетический и нравственный воспитатель», третья — «Пушкин — народный поэт», четвертая — «Пушкин и современная литература».

19 января 1862 года поэт писал Страхову: «Первая лекция — направленная преимущественно против теоретиков (революционных демократов. — В. К.) — а здесь, как и везде, кто читает, их последователи — привела в немалое недоумение. Вторая кончилась сильнейшими рукоплесканиями. В третьей защите Пушкина как гражданина и народного поэта я озлобил всех понимающих до мрачного молчания. В четвёртой я спокойно ругался над поэзией «О Ваньке ражем» и «О купце, у кого украден был калач» (имеются в виду стихотворения Некрасова. — В. К.), обращаясь прямо к поколению, «которое ничего, кроме Некрасова, не читало», а кончил насмешками над учением о соединении луны с землёю (намёк на социалистов-утопистов. — *Рег.*) и пророчеством о победе Галилеянина (Христа. — *Рег.*), о торжестве царства Духа — опять при сильных рукоплесканиях. Что ни одной своей лекции я заранее не обдумывал — в этом едва ли ты усумнишься».

Во многих ли губерниях так помянули четвертьвековую годовщину гибели Пушкина?..

Заканчивал письмо он привычной ясно-пронзительной горечью: «Мрачна лежит теперь предо мною жизнь, почти что без значения. Гласность, свобода — всё это, в сущности, для меня слова, слова, слова, бьющие только слух, слова вздорные, бессодержательные. Гласность бордельной «Искры», свобода «Русского вестника» или теоретиков... неужели ты в серьёзные минуты самоуглубления веришь в эти штуки».

Нет, не могли принять поэта и в здешнем обществе, разглядев в нём эту готовность честного служения делу:

*Бог ты мой!  
Какой ребенок я смешной,  
Идеалист сорокалетний! —  
Жить честно там, где всяк живёт,  
Неся усердно всякий гнёт,  
Купаясь в луже хамских сплетней.*

О жизни души в «городе степном» он напишет поэму «Вверх по Волге» — страстный монолог-обращение к той, с кем связан был «союзом несчастным» — последней своей привязанностью:

*Ты поздно встретила со мной.  
Хоть ты была чиста душой,  
Но ум твой полон был разврата.  
Тебе хотелось бы блистать  
Да «по-французскому» болтать —  
Ты погибала без возврата,  
А я мечтал тебя спасти.*

Никто не мог бы спасти её, и чтобы не погибнуть самому, он, нарушив трёхлетний договор, в мае 1862 года «бежал» из Оренбурга, один, как до этого «бежал» из Петербурга, а ещё раньше — от семейства Трубецких в Италии.

Жизни ему оставалось немногим более двух лет. Слово подгоняемый предчувствиями, он — в сорок лет! — закончил воспоминания «Мои литературные и нравственные скитальчества». В редактируемом им театральном журнале «Якорь» публиковал свои статьи за подписью «Ненужный человек».

«Фанатически преданный своим самодурным убеждениям», он спешил договорить ненужные современникам истины. Их с оглядкой востребуют только через столетие.

В свой последний год он дважды, в июне и сентябре, отсидел в долговой тюрьме, в её серых, грязных стенах писал статьи в «Эпоху» Ф. М. Достоевского и заканчивал перевод «Ромео и Джульетты» — в уплату кредиторам.

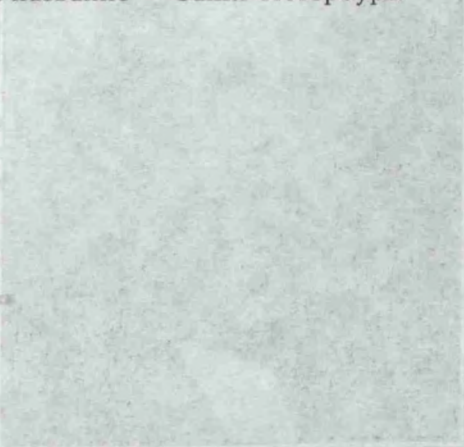
Выкупила его в последний раз, то есть заплатила его

долги, меценатка, известная как генеральша А. К. Биби-кова. Через несколько дней, 25 сентября 1864 года он, на-пряжённо объясняясь с кем-то из издателей, скончался от апоплексического удара, как раньше называли инсульт.

В тридцатые годы прошлого века прах Аполлона Григо-рьева перенесли с Митрофаньевского на Волково кладби-ще в Ленинграде, в девяностые годы того же века вернув-шем прежнее название — Санкт-Петербург.

Хонец да  
на Семёновск  
ри — уже по т  
растались. Ка  
хвора его ост  
ством», пока  
целу: »

Алексей Ни  
Ласкуцкий Я  
сухой треск  
первах трох  
поставили к ст  
Повторили  
Михайловича



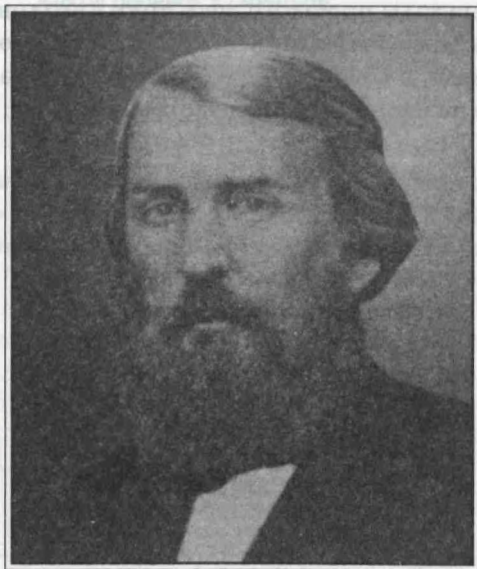
«И душа вылетит, как птица  
аня — вый блях сядуот

ПАВШЕВ

Павшев не сразу  
и тех трёх отпавит от Стам  
посадил». Его Императорской Величества

Из рапорта №448 от 11 января 1849 года в Императорскому  
Петербургской крепости господину генерал-майору графу  
Орлову: «Содержался в крепости отпавший из крепости  
или выславшей Его Императорского Величества полковника  
путь рождения и детована. — Я. К. ...  
об арестантах. сам часа в четверть ...  
ский и Астраханский — в ...  
фельдшерского доктора Проконьякина при 4-х жидках  
Дальней — в Оренбурге ...

В Оренбурге ...  
об этой заброшенной ...  
пией место тогда ...  
перечислять ...



### ПЛЕЩЕЕВ

Алексей Николаевич

(1825 – 1893)

Пиком жизни Алексея Николаевича стало заключение в 1862 года «бежца» из Оренбурга. «Бежца» из Петербурга, а ещё раньше из «рубецких» Италии. Жизнь ему оставила более двух лет. Слово подписанный предчувствиями, он – в город лет! – закончил воспоминания «Моя литературная и гражданская скитальчество». В редакционной и театральной журнале «Жорж» публиковал свои статьи за подписью «Ненужный человек».

«Фанатически преданный своим самодурным убеждениям», он спешил доизжить ненужные современникам истины. Их с ослепкой добротой только через столетие. В свой последний год он дважды, в июне и сентябре, отсидел в долевой тюрьме, в её серых, грязных стенах писал статьи в «Эпосу» Ф. М. Достоевского и закончил перевод «Ромео и Джульетты» – в удачу крантерам.

Выкупила его в последний раз, то есть заплатила его



## Без страха и сомненья



Конец декабря 1849 года... Конец всему... Тихая толпа на Семёновском плацу, расширенно-обморочные глаза матери — уже по ту сторону жизни, — с которой он сейчас должен расстаться. Как и всех осуждённых, на чтение смертного приговора его оставили лишь в белой рубаше, но холода он не чувствовал, пока кто-то не сказал, словно сквозь сон: «Потрите щёку...».

Алексей Николаевич неживыми губами ткнулся в холодно блеснувший крест, подставленный священником, услышал сухой треск переломленной над головой шпаги, увидел, как первых троих — Петрашевского, Момбелли и Григорьева — поставили к столбу для исполнения казни.

Повернувшись, он увидел странно блестящие глаза Фёдора Михайловича. Лицо Достоевского было белее пара от его дыхания. «И душа выйдет, как этот пар...». Одним порывом они обнялись — они были следующими.

Плещеев не сразу понял, почему барабаны ударили отбой и тех троих отвязали от столба, вернули к ним. Отстранённо доносилось: «...Его Императорское Величество... дарует жизнь...».

Из рапорта №448 от 31 января 1850 года коменданта Санкт-Петербургской крепости господину генерал-адъютанту графу Орлову: «Содержавшиеся ... в крепости преступники во исполнении высочайшей Его Императорского Величества конфирмации (утверждения приговора. — В. К.), по исключению их из списков об арестантах, сего числа вечером отправлены: Дуров, Достоевский и Ястржембский — в Тобольск, закованные, с поручиком фельдъегерского корпуса Прокофьевым при 3-х жандармах. Плещеев — в Оренбург, с прапорщиком... Лейстером...».

В Оренбург... Доходили до нынешнего арестанта слухи об этой заброшенной на край света крепости, где пыль уступает место только снегу, отчего и прозвали город «чёртовой перечницей»... Летом там обжигает сорокоградусная жара,

зимой — тридцатиградусный мороз с ветром. Нет, недаром сказано *Оренбургский край*: дальше ехать некуда — Орда...

Это была катастрофа: на двадцать пятом году жизни, позоря старинный род, его лишили всех прав состояния, чтобы одеть в солдатскую шинель.

Что ж, дорогу в социалистический кружок Петрашевского — а значит, и на эшафот — он выбрал сам. В своей «марсельезе сороковых годов», как называли эти стихи, он в романтическом восторге призывал:

*Вперёд! без страха и сомненья,  
На подвиг доблестный, грузья!  
Зарю святого искупленья  
Уж в небесах завидел я!*

О том же говорило и найденное при обыске письмо Белинского к Гоголю, которое он, Плещеев, переслал из Москвы Достоевскому в марте сорок седьмого, письмо, «наполненное дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти».

Оренбургский первый линейный батальон стоял в Уральске. Первое время новобранцев, особенно конфирмованных, не пускали в увольнение, и Плещеев тоскливо метался взглядом между убогими видами берегов уральской старицы, казармы и плаца.

Оренбургский военный губернатор и командир отдельного корпуса В.А. Обручев, при всей своей незлобивости, был служака, ревнитель «парадов и разводов с церемонией». Шло бессмысленное для ученика Петербургской школы подпрапорщиков и юнкеров повторение пройденного. Обручев требовал от батальонного начальства отчётов о поведении, усердии по службе, успехах «по фронту» и об «образе мыслей» политических ссыльных. Единственной отдушиной было общение с такими же, как он, польским революционером Сигизмундом Сераковским и «Кобзарем» — Тарасом Шевченко, привезённым в Уральск в октябре пятидесятого. Отсюда началась и их переписка.

И всё же спасти от полного отупения могло только одно: получение офицерского чина. Счастливый случай скоро представился.

В марте пятьдесят первого управление краем снова принял В.А. Перовский, теперь уже оренбургский и самарский генерал-

губернатор. В реестре переданных ему дел была и собственная неудача Хивинского похода 1839-1840 годов. Тогда из-за невиданных морозов и выюг войскам после больших потерь пришлось бесславно вернуться в Оренбург. Мало что изменилось с тех пор в противостояниях России, казахских султанов-правителей, кокандских и хивинских ханов, опекаемых Англией. В год второго прибытия Перовского в Оренбург кокандцы утнали у «оренбургских» казахов 75 тысяч голов скота, 46 тысяч голов и накануне, в пятидесятом. Это и стало непосредственным поводом для нового похода на Хиву.

«Пришествие» Перовского стало для Плещеева усмешкой судьбы: ведь именно Перовский руководил Военно-судной комиссией по делу петрашевцев в 1849 году. Это под его председательством суд приговорил к смертной казни (заменённой каторгой или ссылкой) Достоевского, Плещеева и других.

Однако ветеран и герой Отечественной войны 1812 года, участник (1817-1818 гг.) тайного декабристского военного общества «Союз благоденствия», друг Жуковского, Пушкина, Гоголя, братьев Карла и Александра Брюлловых, Перовский был выше ходячих мнений о нём. Главными для него, побочного сына графа Разумовского, были творческие и деловые качества ближних, благородство духа.

В марте пятьдесят второго Плещеева неожиданно перевели в Оренбург, где стоял третий линейный батальон. Солнечные блики от ручьёв по Водяной улице слепили глаза, влажный ветер с Урала наполнял надеждой... Он ещё не знал, что переводом своим обязан истомившейся матери, по старому знакомству обратившейся с письмом к Перовскому. Чтобы упрочить положение сына, Елена Александровна и сама летом того же года приехала в Оренбург. После её визита к генерал-губернатору тот, нарушая все мыслимые запреты, пригласил политического преступника к себе — Перовский умел не только карать.

В генерал-губернаторском доме Плещеева поразили не роскошь и не светскость тона — всё это было ему знакомо, — а строгий отбор ближайшего окружения начальника края. В этом чувственном аристократе была петровская закваска — при нём Оренбург дважды становился строительной площадкой. Людями дела, размышляющими над его причинами и следствиями, были и сотрудники Перовского: В. Д. Дандевиль — офицер по особым поручениям, выпускник Военной

академии, будущий генерал и член Военного Совета; В. В. Григорьев (однофамилец петрашевца. — В. К.) — чиновник особых поручений, будущий профессор восточных языков и магистр исторических наук; А. И. Бутаков — моряк, капитан-лейтенант, исследователь Аральского моря, будущий контр-адмирал... С представленным ему корпусным офицером А. И. Макшеевым Плещеев был знаком ещё по Петербургу, по «пятницам» Петрашевского. Алексей Иванович учился тогда в Академии Генерального Штаба и был активным участником кружка Момбелли. От ареста его спасла только двухлетняя экспедиция по Аралу с Бутаковым. Для Перовского не могли быть секретом грехи недавней молодости его офицера, что не мешало относиться к нему с полным доверием. Все они были не только блестяще образованными людьми — это были государственники, знающие насущные, а не придуманные нужды России, готовые положить все силы на её благо. Плещеев, смутившись, поймал себя на мысли, что, по сути, и против таких, как они, на революционном языке, верных слуг самодержавия, он в своей «марсельезе» поклялся «истощить жизнь в борьбе кровавой». На этот раз что-то мешало привычному обаянию этой клятвы...

Двое из новых знакомых — Дандевилль и Григорьев — примут самое горячее участие в его судьбе, а от них прямо зависела жизнь ссыльного в крепости. По их совету Плещеев подал рапорт-прошение об участии в походе на кокандскую крепость Ак-Мечеть. Его перевели в четвёртый линейный батальон, назначенный для «секретной экспедиции».

Весной 1853 года шеститысячный отряд пехоты и казаков вышел на покорение кокандской твердыни. Делами походной канцелярии заведовал Григорьев.

Трехнедельная осада и штурм крепости покончили с тревогами Плещеева. Вторая рота, в которой был он, в числе первых ворвалась в минный пролом. Вся рота была представлена к наградам, чин действительного статского советника получил Григорьев, а в самом конце года, позже других, и Плещеев, наконец, произведён в унтер-офицеры.

Освобождение давал только чин прапорщика, а значит, нужны были и впредь боевые условия, и Плещеев просит полковника Дандевила откомандировать его в форт Перовский — так стала называться взятая крепость (с 1925 г. — Кзыл-Орда. — В. К.).

Больше двух лет унтер-офицер Плещеев живёт гарнизонной

и бивачной жизнью военного отряда, пыгается просветительски разнообразить быт глухой степной крепости. Он много читает, в переписке отзывается о произведениях Островского, Тургенева, Писемского, с энтузиазмом встречает «Русскую историю» С.М. Соловьева.

Рапорты Плещеева о «высочайшем» помиловании, неустанные хлопоты его «ангела-хранителя» Елены Александровны достигли цели: 11 мая 1856 года он в чине прапорщика переведён в Оренбург. Той же осенью в Петербург направляется прошение Плещеева о дозволении ему по состоянию здоровья перейти на гражданскую службу, поддержанное — накануне собственного прошения об отставке — В.А. Перовским. Авторитет Перовского таков, что прапорщик Плещеев без проволочек «увольняется из военной службы с переименованием в коллежские регистраторы и с дозволением перейти на гражданскую службу, кроме столиц».

В начале 1854 года Перовский назначает В.В. Григорьева председателем Оренбургской пограничной комиссии, а осенью пятьдесят шестого по приглашению её председателя туда переходит Плещеев. (Ещё один небезынтересный штрих к вопросу об институтах самодержавия. Это какой-то «разгул либерализма»: через неполные семь лет после смертного приговора государственный преступник становится столоначальником вновь открытого — уж не специально ли для него? — «временного стола по управлению Внутренней Киргизской Ордой» — одним из первых лиц в городе-крепости! — В.К.)

Осенью 1857 года В.В. Григорьев — посажёный отец на свадьбе Плещеева с Е.А. Рудневой — семнадцатилетней дочерью надзирателя Илецкого соляного промысла. За полгода до этого Плещееву возвращено звание потомственного дворянина со всеми правами, кроме жизни в столицах. Возобновилась переписка с Достоевским (в семидесятых годах они разойдутся). Жить приходится в Оренбурге с его обитателями — свидетелями недавней его солдатчины, и это угнетает. Он пишет повесть, он живёт отъездом. Он готовится громко хлопнуть дверью.

Сбросив армейский мундир, нетерпеливый мечтатель Плещеев считал часы прозябания в Оренбурге. В одном из писем Рудневой, ещё невесте, он жаловался: «Мне здесь невыносимо тяжело, грустно. Тоска непомерная давит, мучит меня. Зачем нет

вас подле меня; я бы позабыл этот глупый и душный город с его милыми жителями, угощающими меня нынче всё утро... своими непрошеными советами и непрошеным участием...».

Теперь у него свободные вечера, он наконец-то может вернуться к творчеству. Нет, он не изменил идеалам юности! Если в стихах сорок шестого года он не побоялся повторить за Пушкиным: «неподкупный голос мой», то пережитое только укрепило уверенность в том, что «старый мир должен быть разрушен!» Аристократы-декабристы, а за ними антидворяне Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев убедили не только молодых, что самодержавие — это христианские предрассудки, мрак, деспотизм и ограниченность охранителей, а грядущий строй либеральной демократии — торжество разума, науки и свободы. Что из того, что среди охранителей встречаются дельные люди? — исключения лишь подтверждают правила. Вон Шевченко и слышать не может о Перовском, других эпитетов, кроме «старый развратник», «гнилой сатрап» у него для генерала нет. «Новые люди» не могут не задыхаться в старом мире:

*И возвратился вновь я в скучный город свой  
И встретился с давно знакомою толпой,  
Всё тех же увидал я чопорных педантов,  
Нелепых остряков, честолобивых франтов:  
Прибавилось ещё немного новых лиц;  
Пред золотым тельцом лежат, как прежде, ниц,  
Всё те же ссоры, сплетни и интриги:  
В почёте карты всё, и всё в опале книги!*

Ссылка кончилась. Что же изменили в душевных глубинах поэта его «преступление и наказание»? Например, Достоевский, его товарищ по несчастью, пережил коренную ломку мировоззрения, на каторге и в арестантских ротах сам на десятилетие ставший одним из народа. Наиболее полно новые ценности Достоевского отразились в его статье на смерть Некрасова, опубликованной в «Дневнике писателя» за 1877 год: «...он (Некрасов) преклонялся перед *правдой народною*. Если не нашел ничего в своей жизни более достойного любви, как народ, то, стало быть, признал и *истину народную*, и *истину в народе*, и что истина есть и сохраняется лишь в народе».

Из двух взглядов на народ, отражающих полярные воззрения в идейной борьбе после реформы 1861 года: искать истину

в творчески-самодетельном народе или нести в «косные массы» истины, рождённые вне национальной почвы — Плещеев — «рыцарь без страха и сомнения» остался верен второму, революционно-демократическому взгляду.

Его повесть «Пашинцев» — его месть обывателям без идеалов, навеянная «Губернскими очерками» петрашевца Салтыкова-Щедрина. Появилась она в конце 1859 года в журнале «Русский вестник», когда автор уже возвратился из ссылки. Повесть вызвала общественный скандал. В губернском городе Ухабинске и его публике узнали Оренбург и оренбуржцев. Один из персонажей, местный летописец «неблагонамеренный» Выжлятников иронизирует над Ухабинском: «Положительным образом, можно сказать, богатый рудник для писателя. Жаль, что не тронут».

Автор корреспонденции в «Губернских ведомостях», издаваемых в Уфе, писал: «Оренбург превратился в кабинет для чтения: оренбуржцы читают с увлечением, рассуждают, спорят, осуждают или одобряют прочитанное... «Пашинцев» наделал много шуму... «Русский вестник» переходит из рук в руки... поля Плещеевской повести носят заметки и объяснительные надписи для непосвящённых в тайны общественной жизни Оренбурга».

Многие узнали — помогло портретное сходство — своих ближних. «А уж ругают меня, — писал Плещеев, — Звенигородская (жена вороватого и предприимчивого откупщика, названного в повести Семёном Власычем. — В. К.) говорит, что от колодника, от ссыльного и ожидать больше ничего нельзя!». В сатирическом образе Оголина узнал себя все эти годы благоволивший к Плещееву В. В. Григорьев.

Живущий в Оренбурге сотрудник либеральной «Искры» бесцеремонный С. Н. Федоров в восьмом и девятом номерах этого сатирического журнала за 1860 год опубликовал ёрнический фельетон — спародированное гипотетическое письмо к Плещееву разгневанных обывателей: «Милостивый государь, ваш поступок превосходит всякую меру благопристойности и доброй нравственности. Описать честных людей, ревностно служащих государству, обществу и человечеству (некоторые из нас имеют пряжку беспорочной службы за 25 лет), недостойно ревнителя муз и просвещения... Вы обедали у Петра Григорьевича и Григория Федосеевича, пили два раза чай у Ермолая Васильевича. Помимо сего: вы были одолжены пролёткой для делания визитов, ибо на улице стояла грязь, а извозчиков у нас

не имеется... Чем же вы заплатили за наше гостеприимство? Чёрной, коварной неблагодарностью, а потому мы все, оскорблённые ядовитым поступком вашего сердца, заявляем вам наше глубокое презрение и призываем на главу вашу анафему!». Такие отклики поневоле веселили...

Но оказалась неожиданной и потрясла Плещеева публикация в журнале «Русская беседа» в начале шестидесятого: речь в Обществе любителей российской словесности его председателя Хомякова. Алексея Степановича, славянофила, умницу и полемиста, отстаивающего общинные начала, враждующего с правительством, трудно было обойти вниманием. Но что он говорил!

Начал он с того, что обличительная литература есть законное явление словесной жизни народа, ибо, клеймя частные типы, она есть голос общества, обвиняющего себя в существовании этих типов. Многолетнее молчание, налагаемое официальным самохвальством на общественное самообличение, развращает надолго нравы самой литературы: пробудившись и освободившись, она ещё долго не может сознать и определить границы своих обязанностей и своих прав, и часто незаконную дерзость принимает за законную свободу. Грустнее всего это подтверждается проявлением печатной клеветы...

Чем дальше читал Плещеев, тем больше у него пламенело лицо, хотя в тексте не было и намёка на его имя. Больше того, Хомяков как будто уводил внимание от подлинного объекта критики — так куропатка уводит от своего гнезда: «Вышла повесть, писанная, как кажется, весьма молодым человеком, только выступающим на поприще словесности. В этой повести рассказано подлинное дело из нашей судебно-административной жизни; имена действующих лиц изменены слегка, но так, что их невозможно не узнать. Говорят, что обстоятельства дела представлены весьма верно: так говорят, но кто поручится за верность изложения? Опровергать рассказ, оправдываться нет никакой возможности для обвинённых, ибо они обвинены косвенно, намёками: тут есть возможность клеветы, ибо нет возможности оправдания... Кроме мужчин — дурных чиновников, мо-



жет быть, преступных администраторов и судей, являются и женщины, их жёны, их сёстры, их дети, и все эти женские лица обозначены почти неизменёнными фамилиями, представлены то смешными, то отвратительными, то в высшей степени безнравственными. (Кровь стучала в висках у Плещеева: только Хомяков, перед которым, случалось, пасовал и Герцен, мог с такой аристократической жалостью ставить на место... Он читал дальше). Беззащитные женщины таскаются на позор, топчутся в грязь, обращены в посмешище; спрашиваю: с какого права? С какого права казнит писатель-сплетник, по всей вероятности, писатель-клеветник, несчастную жену чиновника за то, что чиновник дурен, или жену откупщика, потому что откупщик человек бесчестный, или жену поверенного, потому что поверенный плу? Я называю это явление отвратительным... Пусть писатели поймут, что они имеют право на типы пороков и злоупотреблений, а не на частные лица, кто бы они ни были; что обвинительный намёк есть низость, потому что он не допускает оправдания, и что словесный меч правды не должен быть никогда обращаем в кинжал клеветы. Дай Бог, чтобы и читатели поняли, что одобрение нравственных промахов в писателе с их стороны есть также преступление против достоинства слова и против достоинства общественной жизни».

Лишь спустя время Плещеев вполне осознал жёсткий урок ему благородного Хомякова, урок критики именно «типов пороков», а не «частных лиц», а поначалу в пылу обиды бросился писать Добролюбову: «Все мои повести вообще — вещи неважные — сознаю вполне, но мне кажется, что «Пашинцев» все-таки несколько удачнее вышел, чем все остальные». Он запоздало полуизвинился — в одном из своих четырнадцати писем к нему — перед оренбургским гражданским губернатором Е. И. Барановским, с которым установил приятельские отношения: «Повесть эту я писал ещё в Оренбурге — в минуты глубочайшего омерзения к окружающему и оттого она действительно вышла несколько желчной».

Вышла, наконец, статья Добролюбова с оценкой «Па-

шинцева». Знаменитый критик, имея в виду не столько литератора, сколько петрашевца и политического страдальца, в целом положительно оценил повесть, — как же, автор создал её в духе призывов самого Добролюбова: «...надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху — до того, чтобы противно стало читателю всё это царство грязи, чтобы он, задетый за живое, вскочил и с азартом вымолвил: да что же это, дескать, за каторга: лучше пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше», — но критик не мог не отметить схематичности образов положительных героев, и ироничность его здесь больно кольнула Плещеева...

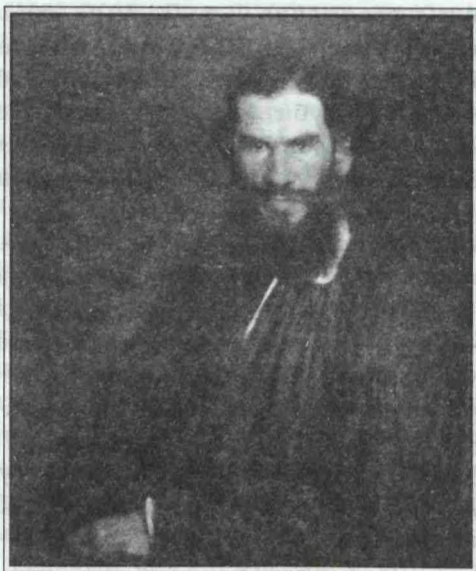
Из Москвы он переехал в Петербург, по приглашению Некрасова стал секретарем журнала «Отечественные записки», где сотрудничал, после смерти поэта, уже с Салтыковым-Щедриным до закрытия журнала в 1884 году. И — тесен мир — судьба снова свела Плещеева с бывшим благодетелем и бывшим председателем Оренбургской пограничной комиссии В. В. Григорьевым. Теперь профессор Петербургского университета Григорьев занимал могущественный пост начальника Главного управления по делам печати. Главный цензор России, с которым прозревший на каторге и в арестантских ротах Достоевский «с особенным удовольствием беседовал», не однажды спасал от закрытия либерально-демократические «Отечественные записки». Это позволило Салтыкову-Щедрину перейти на неофициальный тон в официальных общениях с главным цензором. Вряд ли они оба — идеологи противостоящих лагерей — представляли вполне всю гибельность курсов на форсирование революционной ситуации — с одной стороны и либеральных послаблений правительства разрушителям России — с другой...

Поезд революции, отправленный петрашевцами, набирал ход. Для России наступало то, по поводу чего в 1880 году желчно недоумевал русский мыслитель Константин Леонтьев: «Итак, жизнь обеспечена всем гражданам, исключая царей и ближайших помощников их...».

Долгая жизнь — он умер в 1893 году в Париже — дала

возможность Плещееву увидеть последствия своих далеко не безобидных юношеских мечтаний. Покушением на Александра II в 1868 году открылся кровавый ряд терактов, служащих «нравственному делу — устранению препятствий» на пути к революции. Веру Засулич, стрелявшую в генерала Трепова, либеральный суд оправдал под рукоплескание публики. Первого марта 1881 года бомбой террориста Александр II был убит — через двадцать лет после отмены им крепостного права и в день подписания правительственного акта к обсуждению основ Конституции России.

В «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский размышляет: «Винить ли детей, если их слабыми головёнками одолели великие идеи о «свободном труде и свободном государстве... о коммуне, и об общеевропейском человеке; винить ли за то, что вся эта дребедень кажется им религией, а абсентизм (уклонение от участия в выборах. — В. К.) и измена отечеству — добродетелью?». Несмотря на прошедшие век с десятилетиями, это до сих пор актуальнейший вопрос, если заменить исчерпавшую себя коммуну на «новейший» рынок...



ТОЛСТОЙ  
Лев Николаевич  
(1828—1910)

на дороге и в зрелости жизни Достоевский «с особенным удовольствием» читал «Отечественные записки». Это во многом объясняет его близость к Шеллину, пережившему неофициальный толк в официальных отношениях с главным цензором. Вряд ли она была — идеологией противостоящих лагерей — представляла как воплощение гибкости, курсом на форсированно революционной ситуации — с одной стороны и либеральных посланий правительства разрушителями России — с другой...

Проезд революция: истративший четыре миллиона, набрав год. Для России наступало то, по поводу чего в 1880 году жалко недоумевал русский мыслитель Константин Леонтьев: «Итак, жизнь обеспечена всем гражданам, исключая царей и ближайших помощников их».

Долгая жизнь — он умер в 1893 году в Париже 5-го мая

## «Опять возрождаюсь к жизни...»



Самое сложное в любой биографической попытке — объяснение выбора пути между стечением жизненных обстоятельств и свободной волей героя. Почему известный писатель оставляет родовой помещичий дом с давно устроенным бытом и срывается не только «в деревню, в глушь, в Саратов», а ещё дальше, в совсем необжитые места? Этого мы не знаем. Но мы можем вспомнить, что предшествовало первой поездке Льва Николаевича Толстого, а речь именно о нём, в Оренбургский край в мае 1862 года. Вот некоторые из этих обстоятельств.

С лета 1860 года до весны следующего года Толстой предпринимает путешествие по Европе: Германия, Италия, Франция, Англия, — он хочет ознакомиться с постановкой там школьного дела. Путешествие разрывается семейной катастрофой. Осенью 1860 года в Гиере, городе на Южном побережье Франции, умирает от туберкулёза брат Николай.

Смерть у него на руках Николеньки, «одного из лучших людей, которых встречал в жизни», с которым «связаны лучшие воспоминания», «лучшего друга» потрясла Толстого. Автора трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность», кавказских и севастопольских рассказов, получивших горячее признание читателей, одолевают мысли о бессмысленности жизни и искусства — «прекрасной лжи».

Единственное, что привязывает его к жизни, — организованная им школа для крестьянских детей в своём имении Ясная Поляна.

Из путешествия он возвращается с избытком увиденного, узнанного и прочувствованного, с «отвращением к ци-

визации» и планом издания педагогического журнала. С октября 1861 года журнал «Ясная Поляна» начинает выходить.

Толстого живо интересуют практические результаты акта освобождения крестьян от крепостной зависимости весной 1861 года. Он не скрывает критического отношения к освободительному манифесту, в котором, как пишет новому знакомому Герцену, «мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим». Он начинает «роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист». Он серьезно, до вызова на дуэль, ссорится, потом мирится с Тургеневым. Пишет повесть «Казачи», начатую ещё на Кавказе; считает, что, как и брат Николенька, болен чахоткой. Берется за работу мирового посредника в своём уезде — и устаёт от разборов тяжб между помещиками и крестьянами, — чаще всего он на стороне крестьян. Он ищет отдыха, лечения. Врачи советуют ехать на кумыс.

Ещё в 1852 году в «Отечественных записках» появился очерк «Поездка на кумыс» писателя-оренбуржца М.В. Авдеева, лечившегося под Стерлитамаком в Башкирии. Читатели не могли пройти мимо строк о том, что «благотворное действие кумыса не подлежит сомнению, и крайне жаль, что у нас так мало обращено внимания на это лечение (надо сказать, и до сих пор, спустя более полутора веков! — В.К.), которое составляет исключительную собственность России».

Но, может быть, толстовская поездка в самарские степи сложилась бы иначе, если бы в начале 1857 года он на протяжении шести дней не слушал в московском хлебосольном доме чтения рукописи повести главы семейства Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова-внука». В дневнике он запишет: «Детство» прелестно!» Думается, именно тогда образ «уголка обетованного», образ первозданной свежести и полноты жизни поразил воображение писателя и определил для него выбор в трудную весну шестьдесят второго.

Уже на пароходе — из Твери в Самару (Самарская губер-

ния входила тогда в Оренбургский край. — В. К.) — в дневнике Толстого появляется знаменательная запись: «Как будто опять возрождаюсь к жизни и к сознанию её... Мысль о ничтожестве прогресса преследует».

В этой поездке Льва Николаевича сопровождали кроме неизменного ещё с кавказской службы слуги Алексея Орехова два ученика яснополянской школы Василий Морозов и Егор Чернов. Из Самары они проехали на лошадях 130 вёрст до села Каралыка на одноимённой речке (на границе с современным Курманаевским районом Оренбургской области. — В. К.). В позднейших воспоминаниях В. Морозов, «Васька-кот», как шутливо звал его Толстой, писал: «Ну, слава Богу, приехали на место! Это была степь, ни одной деревни не было видно, ни лесочков, ни кусточков, только видны неустроенные какие-то кибитки войлочные...»

Кибитка наша была не тесная, четверым нам было вполне просторно. Алексей Степанович стал разбирать вещи, привёл всё в порядок. Вскоре принесли нам два больших старых ковры и ещё какой-то войлок. Ковры были расстелены на земляном полу, а войлок был принесён для постели Льва Николаевича. В кибитке стало опрятно, как изнутри, так и снаружи. Кибитка была большая, с целую просторную избу, кругообразная, построена была на каких-то колышках и перекладках, покрыта и обтянута довольно свежими войлоками...»

Сделаем паузу, заметим: сам строй повествования крестьянского сына Морозова, обречённого, в силу вещей, на безграмотность, говорит о чуде невиданной по тем временам толстовской школы образования, свободной от насилия, рутины, казённости: «...Ночь мы спали крепко, уставшие с дороги. Наутро мы встали не рано, солнце было высоко, кибитку нашу прожарило, в ней было как в жарко истопленной комнате.

Алексей Степанович уже сготовил самоварчик. На низеньком столе лежали яйца, ломтиками хлеб, тоненько, по-барски, и соль; это был завтрак для нас всех... Лев Николаевич боль-

ше любил яйца всмятку, распустит яйца в стакане, накрошит ржаного хлеба, посолит солью, размешает и ест. Мы тоже больше ели эту еду».

В конце июня из Самары в Ясную Поляну идёт письмо троюродной тетке Т.А. Ергольской — воспитательнице Толстого, рано потерявшего родителей, одной из самых доверенных его корреспонденток: «Живём мы в кибитке, погода прекрасная. Я нашёл приятеля Столыпина (А.Д. Столыпина, флигель-адъютанта Александра II, отца будущего министра внутренних дел и председателя Совета министров П.А. Столыпина. — В.К.) атаманом в Уральске и ездил к нему и привёз оттуда писаря, но диктую и пишу мало. Лень одолевает при кумысе. Через две недели я намерен отсюда уехать, и потому к Ильину дню думаю быть дома. Меня мучает неизвестность в этой глуши и ещё мысль о том, что я безобразно отстал в издании журнала...».

Пока же, по воспоминаниям В.С. Морозова, Лев Николаевич пил кумыс, слушал песни башкир, играл с ними в русские и местные игры, боролся (по свидетельству Степана Берса, Толстой одной рукой поднимал до пяти пудов. — В.К.), словом, рад был сбросить с себя условности светской жизни: «Даже четырёх-, пятилетние башкирёнки, встречаясь с ним, кивали головой, улыбаясь, и обзывали его:

— Князь Тул. (Это значило: «Тульский князь»).

Между тем, в Ясной Поляне происходили драматичные события: III отделение, установившее с начала года тайное наблюдение за Толстым, — сказалось, видимо, его общение с Герценом в Лондоне и польским революционером Лелевелем в Брюсселе, — произвело обыск в его доме и двух соседних школах. Оповещённый об этом Ергольской, взбешённый Толстой оставил Каралык и в конце июля оказался дома. Оттуда он писал в Петербург родственнице, близкой ко двору, А.А. Толстой: «Какой-то из ваших друзей, грязный полковник, перечитал все мои письма и дневники, которые только перед смертью думал поручить тому другу, который будет мне тогда ближе всех; перечитал две переписки, за тайну которых я бы



отдал всё на свете, — и уехал, объявив, что он *подозрительного* ничего не нашёл. Счастье моё и этого вашего друга, что меня тут не было, — я бы его убил! Мило! Славно! Вот как делает себе друзей правительство».

Через месяц в Петербург отправлено письмо в другой тональности, но с тем же негодованием, Александру II. С тех пор Толстой уже не выходил из состояния внутренней оппозиции правительству и самодержавию как форме правления.

Шестьдесят второй год оказался годом знаменательных неожиданностей для писателя, — он познакомился с будущей женой Софьей Андреевной Берс, мать которой была «лучшим другом детства» его сестры Марии Николаевны и его самого. Софья Андреевна так вспоминала их первое сердечное общение в имении её деда Ивицы в пятидесяти верстах от Ясной Поляны: «...Лев Николаевич оживлённо разговаривал и удерживал нас. Но мама нашла, что всем пора отдохнуть, и строго велела идти спать. Мы не смели ослушаться. Уже я была в дверях, когда Лев Николаевич меня окликнул:

— Софья Андреевна, подождите немного!

— А что?

— Вот прочтите, что я вам напишу.

— Хорошо, — согласилась я.

— Но я буду писать только начальными буквами, а вы должны догадаться, какие это слова.

— Как же это? Да это невозможно! Ну, пишите.

Лев Николаевич счистил щёткой все карточные записи, взял мелок и начал писать. Мы оба были очень серьёзные, но сильно взволнованы. Я следила за его большой красной рукой и чувствовала, что все мои душевные силы и способности, всё моё внимание были энергично сосредоточены на этом мелке, на руке, державшей его. Мы оба молчали.

«В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.», — написал Лев Николаевич. «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья», — прочла я. Сердце моё забилось так сильно, в висках что-то стучало,

лицо моё горело, — я была вне времени, вне сознания всего земного: мне казалось, что я всё могла, всё понимала, обнимала всё необъятное в эту минуту.

— Ну, ещё, — сказал Лев Николаевич и начал писать: «В в. с. с. л. в. н. м. и в. с. Л. З. м. в. с. в. с. Т.».

«В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой», — быстро и без запинки читала я по начальным буквам.

Лев Николаевич даже не был удивлён. Точно это было самое обыкновенное событие...».

Вскоре, после мучительных сомнений в себе, в своей избранныце Толстой объяснился с ней и услышал в ответ «да».

В конце сентября, через несколько дней после свадьбы, в письме к А.А. Толстой он делился самым сокровенным: «Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть таким счастливым».

Новые семейные заботы, работа над эпопеей «Война и мир», яснополянское помещичье хозяйство почти на десять лет приостановили степные поездки писателя.

«Я хвораю почти всю зиму... — сообщал Толстой в одном из писем конца декабря 1870 года. — Занят же страстно уже три недели — не угадаете, чем? Греческим языком. Дошёл до того, что читаю Ксенофонта почти без лексикона». В июне следующего года в письме к Фету вырывается: «Упадок сил и ничего не нужно и не хочется, кроме спокойствия, которого нет. Жена посылает меня на кумыс в Самару или Саратов... Нынче еду в Москву и там узнаю, куда».

Куда — выяснилось по дороге. С братом жены — шестнадцатилетним Степаном Берсом и слугой И.В. Суворовым Толстой приехал в уже знакомые места, в Каралык. В письме к жене: «Башкирцы мои все меня узнали и приняли радостно; но, судя по тому, что я увидел с вечера, у них совсем не так хорошо, как было прежде. Землю у них отрезали лучшую, они стали пахать, и большая часть не выкочёвывает из зимних квартир». В следующем письме ей же: «...неудобства жизни привели бы в ужас твоё кремлёвское сердце (семья Берсов жила в Московском Кремле, где отец Софьи Андреевны служил врачом. — В.К.): ни кроватей, ни посуды, ни белого хлеба, ни ложек... Но неудобства эти нисколько не неприятны...».

Кумыс творил обычные чудеса, — уже в конце июня Тол-

стой сообщал жене: «То, на что я жаловался, тоска и равнодушные прошли; чувствую себя приходящим в скифское состояние, и всё интересно и ново. Скуки не чувствую никакой. Ново и интересно многое: башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа. Я купил лошадь за 60 рублей, и мы ездим со Стёпой... Я стрелял уток, и мы ими кормимся. Сейчас ездили верхом за дрофами, как всегда, только спугнули, и на волчий выводок, где башкирец поймал волчонка... Ничего вредного самому не хочется; ни усиленных занятий, ни курить..., ни чая, ни позднего сиденья».

В очередном июньском письме к жене Толстой рассказывает об охотничьей поездке: «Принимали нас везде с гостеприимством, которое трудно описать. Куда приезжаешь, хозяин закалывает жирного курдючного барана, ставит огромную кадку кумысу, стелит ковры и подушки на полу, сажает на них гостей и не выпускает, пока не съедят его барана и не выпьют его кумыс. Из рук поит гостей и руками (без вилки) в рот кладёт гостям баранину и нельзя его обидеть».

В письме к жене от 29 июня: «Пишу из Бузулука. Это 90 вёрст от нас. Мы приехали сюда с Стёпой, вдвоём переночевали и нынче, 29 вечером едем домой. Поездка очень удалась... Ярмарка (ежегодная «петровская». — В. К.) очень интересная и большая. Такой настоящей, сельской и большой ярмарки я не видал ещё. Разных народов больше 10, табуны киргизских лошадей, уральских, сибирских». Характерный эпизод подметил тогда же Степан Берс: «Какой-то пьяный мужик вздумал обнять его (Толстого. — В. К.) от избытка добродушия, но строгий и внушительный взгляд Л. Н-ча остановил его. Мужик сам опустил руки и сказал: «нет, ничаво, нябось»».

Толстой в письме к Фету через несколько недель: «... как следует при кумысном лечении, с утра до вечера пьян, потею и нахожу в этом удовольствие. Здесь очень хорошо и значительно всё... Я — как и везде, примериваюсь, — не купить ли имение. Это мне занятие и лучший предлог для узнавания настоящего положения края».

Имение Лев Николаевич купил на пересыхающей речке Тананыке, притоке Бобровки, впадающей в реку Бузулук. И после организационной летней поездки 1872 года на следующую весну приехал сюда уже всей семьёй.

любезно и радостно, всё, что противно, мне гадко и больно».

В непрерывных, часто мучительных «исканиях Бога» Толстой со слугой С.П. Арбузовым и учителем яснополянской школы Д.Ф. Виноградовым совершил пешее, далеко за сотню вёрст, путешествие в Оптину Пустынь — мужской монастырь близ Козельска. И.С. Тургеневу он писал: «Паломничество моё удалось прекрасно. Я наберу из своей жизни годов 5, которые отдам за эти 10 дней».

И всё же в своей духовной вселенной страдающий богоборец Толстой нашёл место лишь совершенному человеку Христу — необожествлённому мыслителю и Учителю и отказал церкви как собранию несовершенных людей.

Как писал исследователь Оптиной Пустыни И.М. Концевич, «из всех мыслителей, общавшихся со старцами, дальше всех от оптинского духа был Л.Н. Толстой. Из-за его крайней гордости старцу Амвросию трудно было вести с ним беседу, которая сильно утомляла старца. После своего отлучения Толстой больше со старцами не виделся. Так, однажды подойдя к скиту, он остановился: какая-то невидимая сила задержала его у святых ворот».

В последние дни своей жизни, почувствовав приближение смерти, Толстой, бросив всё, направился в Оптину Пустынь, бежав от своего ближайшего атеистического окружения.

Когда оптинский старец о. Варсонофий по поручению Святейшего Синода прибыл на станцию Астапово, чтобы принести примирение и умиротворение умирающему, он не был допущен к Толстому всё тем же окружением, по сути дела, поправшим последнюю волю писателя. Л. Толстой умер без покаяния и был похоронен по-язычески. Старец Варсонофий до конца своей жизни без боли и волнения не мог вспоминать об этой поездке».

Летом 1883 года Толстой в десятый — и последний — раз приезжает в самарские степи. Жене он пишет: «Дорогой видел много переселенцев — очень трогательное и величественное зрелище». Толстовское восклицание относит нас к дневниковой записи Софьи Андреевны 3 марта 1876 года: «Вчера Лев Николаевич подошёл к столу, указал на тетрадь своего писания и сказал: «Ах, скорей, скорей бы кончить этот роман (т.е. «Анну Каренину») и начать новое. Мне теперь так ясна моя мысль. Чтобы произведение было хорошо, надо любить

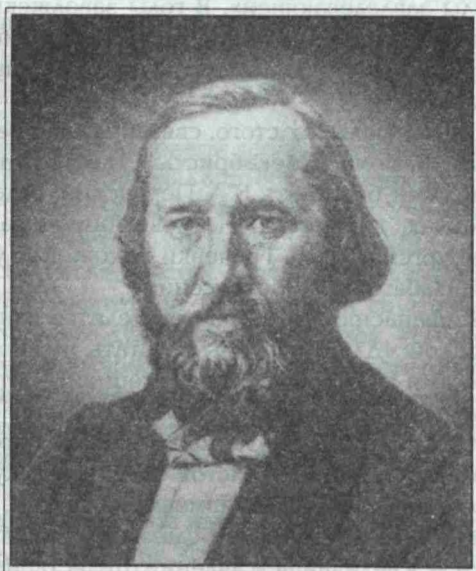
в нём главную, основную мысль. Так в «Анне Карениной» я люблю мысль семейную, в «Войне и мире» любил мысль народную, вследствие войны 12-го года, а теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле силы завладевающей». В годы заволжских поездок творческое воображение писателя не оставляла мирная воля русского народа-земледедца в освоении громадных российских пространств.

Творческие замыслы Толстого, связанные с Оренбургским краем, например, роман «Декабристы», где прототипом главного героя должен был стать В. А. Перовский, остались в набросках, письмах, дневниках. На революционера Е. Е. Лазарева из оренбургского села Грачевки похож, как утверждает С. Л. Толстой, Набатов из «Воскресения».

В письме Афанасию Фету Толстой делится одной из тайн своей мастерской: «Для того чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмости». В его степной — от горизонта до горизонта — лаборатории, где ничего не менялось со времен Геродота, мир представал лишь в эпических проявлениях. Возможно, здесь додумывал Толстой свою эстетику реализма, по которой «ценность писателя измерялась не тем, что он сделал для литературы, а тем, что он сделал для жизни». Истоки этой эстетики — в величайшем явлении отечественной литературы XI века — «Слове о полку Игореве».

Творческую «несоизмеримость ни с чем» писателя видели многие: «Толстой, это слон», — говорил Тургенев; это Шекспир, Шекспир! — восклицал при чтении «Войны и мира» Флобер; я могу, — признавался Хемингуэй, — написать не хуже или лучше многих, но я был бы безумцем, если бы вздумал состязаться с Толстым».

Степные поездки Толстого в нетронутые просторы и «скифскую» простоту жизни, возможно, были необходимым творческим условием в нелёгкую пору создания «Казаков», «Войны и мира», «Воскресения», «Исповеди»... Отсюда понятнее это выплеснутое из глубины души: «Опять возрождаюсь к жизни...», звучащее как «опять возвращаюсь к творчеству».



АКСАКОВ  
 Константин Сергеевич  
 (1817—1860)

## «Восторга пламенного полн...»



После свадьбы в Москве с Ольгой Семёновной Заплатиной, дочерью суворовского генерала, Сергей Тимофеевич Аксаков в очередной раз оставил «государственную службу», к которой он «никакого призвания не чувствовал», и в 1816 году вернулся в оренбургское имение отца, в «любимое Аксаково». Село это через сорок лет предстанет в его «Семейной хронике» как Багрово, с тем и войдёт в мировую классику. Здесь 28 марта (10 апреля) 1817 года у молодых родился первенец Константин.

Отец его, Сергей Тимофеевич, как позже писал о нём сын Иван Сергеевич, «был художник в душе и ко всякому наслаждению относился художественно. Страстный актёр, страстный охотник, страстный игрок в карты, он был артистом во всех своих увлечениях...». Мечтавший в стихах, написанных перед свадьбой, «в любви страстной чашу восхищений пить», молодой отец нашёл выход для своей необыкновенной природы в родительской любви: с первых дней он стал нянькой для сына, который «засыпал не иначе, как под его баюканье».

В четыре года мать научила сына читать, и первой его книгой стала «История Трои», а герои гомеровой «Илиады» — Ахилл, Гектор, Диомед — героями его первых детских игр.

С такой ранней способностью чувствовать и представлять неопределимо начало жизни — именно в нём закладывается личность. Всего пять с небольшим лет с рождения провёл Константин в Аксакове, но успел почувствовать во всей новизне первые впечатления родины, ту их поэтическую сторону, которую Тютчев называл «гением места».

Помня со стороны нервной, властной матери все ограничения своего детства, Сергей Тимофеевич не стеснял неотступной опекой первенца, когда тот подрос. Так, в неполные пять лет Костя оказался с деревенскими мальчишками на Челябинской горе, которая, как и Кудринская гора, «сторожит» село.

Трудно, жутковато было взбираться по крутым склонам, хватаясь за пучки старой травы, но вдруг открывшаяся высота не испугала. Он испытал не похожий ни на что восторг: горизонты раздвинулись, знакомые избы села уменьшились — и всё вокруг увиделось новыми глазами.

После года жизни в Москве, в августе 1822 года всё семейство молодых Аксаковых переехало в выделенное отцом Сергеем Тимофеевичу имение Надёжино (в аксаковской прозе — Парашино) Белебеевского уезда Оренбургской губернии, ныне село Надеждино Белебеевского района Башкортостана. В «Очерке семейного быта Аксаковых» Иван Аксаков писал о своём брате: «Константин Сергеевич любил вспоминать (он вообще с нежностью относился к своим детским годам) своё пребывание в Надёжине и чем с ранних лет воспитывалось русское чувство».

С новыми местами у Константина было связано открытие Пушкина: «В Надёжине... будучи человеком экспансивным, невольно приобщил Сергей Тимофеевич своего малютку-сына своим литературным интересам. «Евгений Онегин» присылался тетрадами. Всё это читалось вслух, громко, с каким-то увлечением».

Любимым чтением Константина были «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». Об этом сборнике русского фольклора писал позже будущий наставник, а потом оппонент Константина — Белинский: «Очень полезно, и даже необходимо, знакомить детей с русскими народными песнями, читать им, с немногими пропусками, стихотворные сказки Кирши Данилова. Народность обыкновенно выпускается у нас из плана воспитания... Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству». Один из главных героев сборника — крестьянский сын, богатырь Илья Муромец на всю жизнь стал любимым героем Константина. Не случайно он — ещё ребенок — увидел в те годы «исторический» сон: Красную площадь и Минина в цепях...

В Надёжине произошёл случай, после которого Сергей Тимофеевич «прозрел» будущую стезю первенца: «Быть Константину филологом!» — тот решительно заменил чуждое слуху обращение к отцу «папаша» самостоятельно найденным «отесенька». Это не было случайным капризом гениального ребенка: позже, принятый в свете французский язык в мо-



сковском доме Аксаковых не употреблялся вообще, и Константин первый резко осуждал и смеялся над ним. Переданные от знакомых дам Ольге Семёновне записки на французском уносились в детскую, «наверх, и там все братья, имея во главе Константина Сергеевича, прокалывали эти записки ножами, взятыми из буфета, потом торжественно сожигали...»

Когда мальчику «минуло восемь лет, отец подарил ему в богатом переплёте том стихотворений Ивана Ивановича Дмитриева. По этой книге, которую Константин Сергеевич скоро знал наизусть, Ольга Семёновна учила читать детей своих:

*«Москва, России гочь любима,  
Где равную тебе сыскать!»*

Или:

*«Мои сыны, питомцы славы,  
Красивы, горды, величавы»...*

Между тем, с начала 1826 года у Сергея Тимофеевича вызревало решение оставить Надёжино. Помещичье хозяйство не шло, — земли здесь были хуже, чем в Аксакове, два года подряд были неурожайными, по неосторожности сгорел дом, скончались трое детей, «зато и родилось четверо, — писал Сергей Тимофеевич. — Я решился ускорить мой переезд в Москву и в августе-месяце, вместе с остальным семейством, навсегда простился с Оренбургским краем».

В сентябре 1826 года в Москву приехала большая семья Аксаковых — с сыновьями Константином, Григорием, Иваном, Михаилом, дочерьми Верой и Ольгой. В необыкновенном их доме «дети были постоянно с родителями, со старшими, жили их жизнью, интересовались их интересами (гости принимались всей семьёй)». Счастливо совпали человеческие и творческие интересы хозяина — театрального критика и литератора, — в его доме сходилась театральная и литературная Москва всех направлений.

На аксаковских субботах дом не затихал с обеда до поздней ночи, здесь кипели оригинальнейшие умы первопрестольной: редактор журнала «Московский вестник», историк и писатель М. П. Погодин, славист Ю. И. Венелин, братья Иван и Пётр Киреевские — философ и фольклорист; поэт, философ и публицист А. С. Хомяков, профессора Москов-

ского университета; великие артисты Щепкин и Мочалов.

И опять слово биографу семьи Ивану Аксакову: Константин учился «у Венелина латинскому языку, у Долгомостьева греческому языку, у Фролова географии. Он много читал и в особенности любил чтение русской истории... Будучи старшим в многочисленной семье, Константин Сергеевич, конечно, давал направление всем своим братьям и сёстрам. Прочитав Карамзина, он тотчас же собирал в своей комнате наверху своих братьев и сестёр и заставлял их слушать его историю. Она воспламеняла в нём патриотическое чувство... в особенности возбудил его восторг эпизод о некоем князе Вячко, который сражался с немцами при осаде Куксгавена, не захотел им сдаться и, выбросившись из башни, погиб...». Не мирясь с тем, что «имя героя этого предано совершенному забвению», двенадцатилетний Константин «учредил» 30 ноября костюмированный в древнерусском духе праздник Вячки с сочинённой им песней в честь героя. Действо заканчивалось русским угощением: «пился мёд, елись пряники, орехи и смоквы».

Показав в гимназии блестящие способности, Константин в 15 лет поступает на словесное отделение Московского университета. Здесь он оказывается в литературно-философском кружке Станкевича. Основатель кружка поэт и философ Н. В. Станкевич обаянием своей личности сумел соединить несоединимое: будущих славянофилов Аксакова и Самарина, западников Белинского и Грановского, теоретика анархизма и полного устранения государства Бакунина с умеренным либералом Катковым. Шестнадцатилетний Аксаков был самым младшим в кружке, где старшему не исполнилось и двадцати. В «Воспоминаниях студентства» Аксаков напишет: «В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир — воззрение большей частью отрицательное... я был поражен таким направлением, и мне оно было больно; в особенности больны мне были нападения на Россию, которую я любил, которую люблю с самых малых лет».

Духовным противоядием разъедающему всё отрицанию для Константина стал прежде всего, отец, а с 1832 года —

и Гоголь, которого Погодин ввёл в аксаковский дом и к которому студент-словесник пылко привязался. Не без влияния Гоголевского слова Константин обдумывал пути общественного служения:

*Среди народных волн,  
Восторга пламенного полн,  
Греметь торжественно глаголом!  
И двигать их, и укрощать,  
И всемогущей правды словом  
Их к пользе общей направлять...*

К середине тридцатых годов относится пылокое, как всё у него, увлечение Константина двоюродной сестрой Марией Григорьевной Карташевской. Отец её, женатый на сестре Сергея Тимофеевича Надежде Тимофеевне, сенатор, запретил молодым людям встречаться... Скорее всего, к ней обращено стихотворение Константина «Мой Марихен так уж мал, так уж мал...». На его слова П. И. Чайковский написал детскую песенку «Мой Лизочек».

По выходе в свет гоголевских «Мёртвых душ» Машенька Карташевская в письме к подруге Вере Аксаковой одной из первых оценила событие: «Как можно было создать с таким совершенством все характеры этого романа и среди пошлой, бесцветной ничтожности отделить всякого такими резкими отличительными чертами... Мне кажется, что только после этого сочинения вполне начинаю я понимать, что такое Гоголь и что это за талант». «Как ни высоко я ценил её эстетическое чувство, — писал о любимой племяннице Гоголю Сергей Тимофеевич, — но не мог предположить, чтоб она могла так понять и почувствовать «Мёртвые души»... Немного таких прекрасных существ можно встретить ... в православной Руси». Разглядел Карташевскую и Гоголь, обычно крайне сдержанный в оценках: «Есть души, что самоцветные камни, они не покрыты корой, и, кажется, как будто и родились на свет уже готовыми»...

Так подобное тянется к подобному... Не исключено, что именно сердечная тоска погнала в 1838 году «домоседа» Константина в Германию и Швейцарию. «Намереваясь долго

прожить в чужих краях», он не выдержал разлуки с родными и через четыре месяца воротился домой, отдавшись переводам с немецкого. Вместе с первой и последней в его жизни любовью заканчивался этап его туманного романтизма, и всё определённое перед ним, думающим русским на историческом поприще, вставал главный вопрос: какой быть его России...

К 1839 году в дружеском и духовном окружении Константина Аксакова произошла своеобразная «смена караулов». Опекавший его Белинский возглавил критический отдел журнала «Отечественные записки» и переехал в Петербург. В этом году на вечерах философа и публициста И. В. Киреевского Константин услышал чтение статьи друга отца Алексея Степановича Хомякова «О старом и новом» и полемический отзыв «В ответ А. С. Хомякову» Ивана Киреевского. Ни та, ни другая статьи, содержащие основные положения славянофильского учения, не предназначались для печати.

Услышанное потрясло Константина ясностью и новизной поставленных вопросов. Внутренне — семейным воспитанием, свойствами личности — он был готов к прозвучавшим в статьях критике крепостного права, этого, по выражению Хомякова, «наглого нарушения всех прав»; к идее преобразования России творчески осмысленными формами жизни Древней Руси. Выступившие дали имя тому, что всегда жило в Аксаковых: славянскому строю души, строю жизни славян — соборности, общине, вече, крестьянским сходам и миру. Имя это было «славянофильство», что значило любовь к славянам.

О первых «старших» славянофилах великий русский мыслитель К. Н. Леонтьев позже скажет: «Эти люди были все русские дворяне, даровитые, учёные, идеальные, благовоспитанные, тонкие, европеизмом пресыщенные, благородные москвичи, за спинами которых стояли целые века государственного великорусского опыта». Открывает, по преимуществу, ряд этих людей А. С. Хомяков, блестяще образованный офицер, вышедший в отставку, доблестный участник русско-турецкой войны 1828 — 1829 годов, поэт, у которого Пушкин находил «прекрасные стихи», «неоспоримый истин-

ный талант»; в совершенстве знающий английский, французский, немецкий, греческий языки, латынь и санскрит; искрометный, неотразимый полемист, сравнимый разве с Герценом, — он умел весело, просто и образно: с каламбурами и парадоксами говорить о сложном; оригинальный философ, неординарный живописец, один из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества; изобретённая им паровая машина получила патент в Лондоне. Говоря о славянофилах, Герцен так подводил итоги 50-х годов: «Я не думаю, чтоб кто-нибудь из славян сделал больше для распространения их воззрения, чем Хомяков». Не могли не привлечь К. Аксакова такие основополагающие хомяковские максимы, как: «...там только сила, где любовь, а любовь только там, где личная свобода», или: «Нет человечески истинного без истинно народного!».

Вдохновляемый подобными учителями, Константин Аксаков первым назовёт народ «могучим хранителем жизненной великой тайны» и понимание этого сделает главным критерием отношения к личности, человеческим поступкам, художественным произведениям.

Белинский в немалой степени ускорил размежевание партий западников и славянофилов — с 1842 года он стал «ожесточённым, неумолимым противником тех идей, которые год назад перед тем проповедовал с такой горячностью и искренностью». Хотя противники ещё могли собраться вместе, как в доме Аксаковых на «примирительном» обеде весной 1844 года, устроенном в честь Грановского, где «славянофилы обнимались с западниками», но, по словам Белинского, «никакой возможности к уступке с той или с другой стороны» уже не было.

В «Былом и думах» Герцен приводит один из эпизодов идеологического разрыва прежних единомышленников: «Аксаков остался до конца жизни вечным восторженным и беспредельно благородным юношей; он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем. В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шёл по улице; К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он быстро проехал, но вдруг

перь не мог согласиться с мыслью, что жизнь может и должна продолжаться без отца. Редкое это на земле чудо: любовь невыразимая, и плата за нее небывалая — с потерей самого дорогого всё теряет смысл.

Непоправимые потери начались ещё в 52-м с мученической кончиной Гоголя, продолжились в 56-м смертью братьев Киреевских, но последние нравственные силы после ухода отца забрала скоропостижная смерть Хомякова. Идеалист, Константин Аксаков всем своим страстным существом был связан с ними, апостолами света, хранившими тепло пушкинской руки...

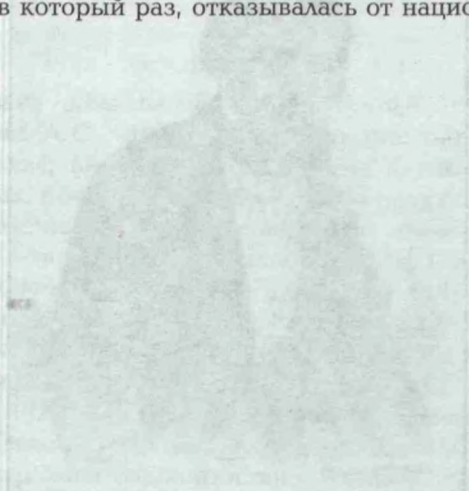
Теперь он, смешав дни и ночи, сидел над своей болью и, богатырь, слабел день ото дня. Врачи предложили лечение за границей. Повёз его брат Иван Сергеевич. Зиму 1860 — 1861 годов больной должен был провести на небольшом греческом острове Занте. Теперь с ним были мать и старшие сестры Вера и Любовь. В лечебнице на берегу Средиземного моря у них на руках и скончался Константин Сергеевич 7 (19) декабря 1860 года.

«На пустынном острове не было русского православно-го священника для исповеди больного, — вспоминал современник. — Нашелся грек, едва говоривший по-французски. У этого-то грека и исповедовался умирающий на своем нелюбимом языке.

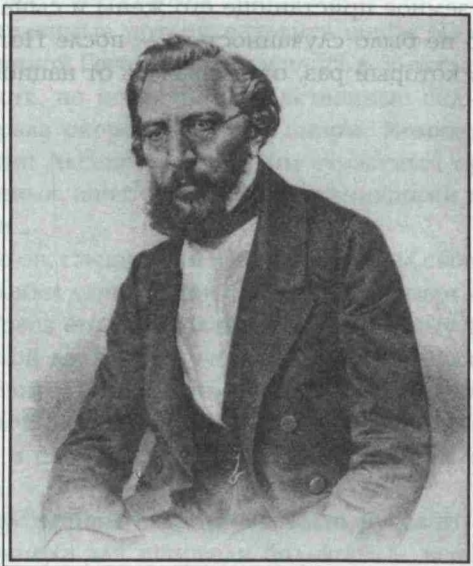
Грек, призванный к умирающему и спешивший попросту справить потребу, был изумлён исповедью, причащением и кончиной столь необыкновенного человека. Самым простодушным образом выражал своё удивление и недоумение; он просил: нельзя ли ему повидать всех близких этого человека, и, главное, мать покойного? Ему хотелось передать... — праведник скончался, ещё не видывал исповедник примеров такой веры на земле. Он не прекращал своих расспросов: «Да кто же это был? Кто это умер перед ним?»

В некрологе «Константин Сергеевич Аксаков», помещённом в «Колоколе», Герцен писал: «...рано умер Хомяков, еще раньше Аксаков; больно людям, любившим их, знать, что нет больше этих деятелей благородных, неутомимых, что нет этих противников, которые были ближе нам многих своих...».

Похоронили сына рядом с отцом в Симоновом монастыре, который Константин Аксаков так любил. В 30-е годы XX века при сносе этого монастыря, как и множества других, прах Сергея Тимофеевича перенесли на Новодевичье кладбище, последнее же земное пристанище его жены и сына предали забвению. Это не было случайностью — после Петра Великого Россия, в который раз, отказывалась от национального пути.



Похоронная служба была с отцом в Симоновом монастыре, который Константин Аксаков так любил. В 30-е годы XIX века при споре этого монастыря, как и множества других, при Сергее Тихофеевиче перешел в Новодевичий кладбище.



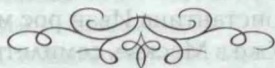
**АКСАКОВ**  
Иван Сергеевич  
(1823 — 1886)

Труд, признания и слава в жизни и святилище погребения — это все, что было в жизни Константина Аксакова. У него не было ни минуты покоя, ни минуты покоя на своем любимом языке. Труд, признания и слава в жизни и святилище погребения — это все, что было в жизни Константина Аксакова. У него не было ни минуты покоя, ни минуты покоя на своем любимом языке.

В некрологе «Константин Сергеевич Аксаков», помещенном в «Колодеце», Герцен писал: «... рано умер Хомяков, еще раньше Аксаков; больше людям, любившим их, жаль, что нет больше этих деятелей благородных, во имя которых нет этих прощаний, которые были больше нам и близки своим».



## Он жил для «подвигов суровых»



Имя Ивана Аксакова, как и имена основоположника славянофильства А.С. Хомякова и его позднего продолжателя К.Н. Леонтьева, как брата Константина Аксакова и некоторых других, почти весь XX-й век было предано забвению. Идейное течение — «славянофильство» было враждебно и будущим, и победившим революционерам, и их идеологическим наследникам. Может быть, это стало одной из причин национальных трагедий России в XX веке.

Четвёртый после Константина, Григория и Николая сын Сергея Тимофеевича Иван Аксаков родился 26 сентября (8 октября) 1823 года в селе Надёжино Белебеевского уезда Оренбургской губернии, ныне это село Надеждино Белебеевского района Башкортостана. В аксаковской повести «Детские годы Багрова-внука» это «лежащее на низменности богатое село Парашино, с каменной церковью и небольшим прудом в овраге».

В начальные детские впечатления не могли не войти «великолепные парашинские родники», которых «было больше двадцати» — глава «Парашино»: «Некоторые родники были очень сильны и вырывались из середины горы, другие били и кипели у её подошвы, некоторые находились на косогорах и были обделаны деревянными срубамы с крышей; в срубы были вдолблены широкие липовые колоды, наполненные такой прозрачной водой, что казались пустыми; вода по всей колоде переливалась через край, падая по бокам стеклянную бахромой».

Пусть и неосознанно — Ивана увезли в Москву, когда ему не было и трёх лет, — но в памяти не могли не остаться и водяная мельница с позеленевшим колесом, и высокие травы и цветы по обочинам дорог в хлебах... В зрелые годы Иван Сергеевич несколько раз навещал оба родовых гнезда. В июне 1848 года он приезжал в соседнее имение Знаменское с ком-

позитором и пианистом А. Г. Рубинштейном. Последний его приезд на родину относят к 1864 году.

В отличие от Константина Иван рос молчаливым, сосредоточенным в себе. Уже в Москве, семилетним, он заболел скарлатиной и его перевели от братьев и сестёр наверх, в мезонин. Вскоре оттуда спустилось к ним послание, поразившее всех слогом и жаром чувства. Впрочем, для семейства Аксаковых это не было чем-то необыкновенным — дети здесь, проникаясь интересами старших, созревали рано. Все они, воспитанные в разумной свободе, были в той или иной мере духовным продолжением отца и матери. Как позже вспоминал Иван, «...в письмах к своим ещё далеко не совершеннолетним сыновьям Сергей Тимофеевич всегда называет каждого из них: «мой сын и друг», — и сам подписывается: «твой друг и отец»... он был для них искренним и истинным другом, он действовал на них не только приёмами внешнего, формального авторитета, но гораздо более влиянием нежного, разумного, мудрого сочувствия».

Немалое влияние на Ивана имел Константин, раз и навсегда внёсший в детский обиход обращение к родителям: «милый отесенька» как производное от «отец», и «милая маменька». Домашнее образование Ивана во многом было связано с образованием старшего брата. Всякое культурное событие, всякая книжная новинка немедленно делались достоянием всей семьи.

Наша высшая школа изучает педагогические труды Жан-Жака Руссо, по словам Дидро и Сент-Бёва, затворника и человека крайностей, отдавшего пятерых своих детей «на попечение общества» в Воспитательный дом (по его «Исповеди»: «я верил, что поступаю как гражданин и отец; и я смотрел на себя, как на члена республики Платона... Эта мера казалась мне такой хорошей, разумной, законной, что если я не хвастался ею открыто, то единственно из уважения к матери детей...»). Не здесь ли корни западной ювенальной педагогики, рассматривающей детей оторванно от примеров отцов, от традиций семьи и рода?), и непонятным молчанием обходит отечественного гения практической педагогики С. Т. Аксакова, оставившего после себя, по сути, педагогическую школу в классической прозе «Детские годы Багрова внука» и в своих детях!

Трудно было пожелать для Ивана лучших учителей, чем

отец и старший брат. С такими наставниками Иван в 1838 году вслед за братом Григорием блестяще выдержал экзамены в Императорское училище правоведения — в нём готовились кадры для высшей администрации. Завязавшееся в училище у братьев Аксаковых знакомство с их однокашником Е. И. Барановским — будущим оренбургским гражданским губернатором — не прекращалось до начала 60-х годов. Известна переписка Е.И. Барановского с С.Т. Аксаковым и А.Н. Плещеевым.

Об уровне и направленности преподавания в училище правоведения можно судить по следующим строкам Ивана Сергеевича: «...мне хотелось бы каждый день быть полезным членом общества, и полезным не в одном своём околотке». Поэтому на «бумажной» службе в Департаменте Правительствующего Сената в Москве после выпуска в 1842 году он задержался недолго, — уже в январе 1844 года пошли письма домашним из «счастливой поездки» в Астраханскую губернию, куда он был направлен с ревизией в комиссии князя П.П. Гагарина.

«Астраханское сидение» длилось около года. Как оказалось, «глупая, скучная и томительная работа» — всё-таки давала выход к живой жизни. У двадцатилетнего чиновника, способного сидеть над документами по 15 — 16 часов в сутки, — неуёмное любопытство к жизни с её истоками: «Удивительно разнородны элементы русской державы и глубокое необходимо изучение настоящей России, чтоб уметь воспользоваться ими и согласовать их...».

Дважды в неделю он отправляет многостраничные письма родным — своеобразные отчёты о прозе и поэзии жизни. Его письма — кладези сведений для этнографа, историка, фольклориста, психолога, они и его своеобразный дневник, и как бы черновые писательские заготовки, интересные «для всякого мыслящего человека», по словам отца. Письма Ивана Сергеевича становились событием не только для домашних, но и для всего литературного и культурного окружения большой семьи.

Иван Аксаков не даёт себе погрязнуть в мелочах канцелярского быта. В письме от 8 июля 1844 года молодой ревизор прикидывает будущее: «...сделавшись губернатором хоть здесь в Астрахани, я оградил бы крепкими валами город от наводне-

ния, углубил бы дно Волги, очистил бы её фарватер, завёл бы пароходство, участил бы торговые отношения с Персией...».

«Скверный и испорченный город Астрахань, город обширный, красивый и богатый» стал для Аксакова первой суровой школой действительности, и он многое вынес из её уроков: «Я решительно убеждаюсь, что на службе можно приносить только две пользы: 1) отрицательную, т.е. не брать взятки, 2) частную, и только тогда, когда позволишь себе нарушить закон».

Астраханские впечатления приводят его к выводам, которые подтвердит вся последующая жизнь: «Равнодушие и лень, лень и равнодушие, вот главные черты образованного класса, но они не должны иметь места в душе не пошлой». Это станет сквозной темой всего его творчества:

*Не то что б гнали мы бесстыдно,  
Но спим, но дремлем мы обидно;  
Но постепенно силы в нас,  
Пугаясь подвигов суровых,  
Средь мелких благ, средь благ дешёвых,  
Счастливо гаснут каждый час!*

После Астрахани Аксаков получил назначение в Калугу товарищем (заместителем) председателя уголовной палаты. Уже в первых письмах оттуда психологически ёмкие уверенные характеристики калужских первых лиц, начиная с губернатора — мужа известной Александры Осиповны Смирновой, урождённой Россет, дружившей с Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Гоголем, Языковым, Хомяковым. Письма Аксакова искренни до резкости, когда он вспоминает местную «...молодёжь, беспечную, равнодушную, не тревожимую никаким интересом национальным или хоть общечеловеческим, годящуюся только на подтопку!». В одной из позднейших статей он не удерживается от сарказма по поводу губернского чиновного общества: «...сплетни — единственный признак умственной деятельности в провинции».

К лету будущего года относится его неудачная попытка издать свой первый стихотворный сборник. Цензор безжалостно «перепачкал» рукопись, полностью вычеркнул мистирию

«Жизнь чиновника» и несколько стихотворений. Да и как могло быть пропущено такое: «Ваше царство пасть готово, ваше благо — вред и ложь, ваш закон — пустое слово, ваша деятельность — тож!». Цензуру не могли не насторожить стихи, напоминающие пушкинского «Пророка»:

*Не стыдно вам пустых занятий,  
Богатств и прихотей своих,  
Вам нипочём страданья братий  
И стоны праведные их!..  
Господь! Господь, вонми моленью,  
Да прогремит бедами гром  
Земли гнилому поколенью,  
И в прах рассыплется Содом!*

Полностью стихи Ивана Аксакова увидели свет лишь после смерти автора. Аксаков скромно оценивал свое дарование поэта-гражданина, в котором искали выход его «... стремление к пользе, воззвание к деятельности, нравственные строгие требования, борьба высшего содержания...», он «готов был отдать» сотни своих стихов за один стих Тютчева или даже Полонского. Мнение Некрасова говорило о другом: «Давно не слышалось в русской литературе такого благородного, строгого и сильного голоса».

Иван Аксаков жил, как писал. Став обер-секретарём Московского сената и членом суда, он «...ринулся ... в неравную борьбу с судейской неправдой». Однако подобные движения души редко заканчиваются общественной победой.

Осенью 1848 года его, чиновника особых поручений министерства внутренних дел, направляют с секретной миссией в Бессарабию для изучения раскольничьих сект. И снова родные в Москве жадно читают его письма, насыщенные жизнью.

Революционные события 1848 года в Европе вызвали охранительную правительственную реакцию в России. В марте 1849 года заключён в Петропавловскую крепость друг Аксаковых общественный деятель — славянофил Ю.Ф. Самарин. В своих «Письмах из Риги» он критиковал политику правительства в Прибалтике, поощрявшую засилье немецкого юнкерства — крупных землевладельцев из дворян. Через две недели арестовали и Ивана Аксакова, имевшего неосторож-

ность в перлюстрированных (тайно вскрытых) полицией письмах возмущаться арестом известного философа и публициста. Годы спустя, Аксаков вспоминал об этом: государь «сам занялся рассмотрением моих письменных ответов на предложенные мне вопросы, сам написал некоторые замечания, возражения и опровержения моих мнений и, отсылая всю эту тетрадь к графу Орлову (шефу жандармов. — В. К.), написал ему четыре слова, не лишённые парадной красоты: «Призови, прочти, вразуми и отпусти». Пройдёт семьдесят лет, и следователи у других высоких инакомыслящих будут гораздо ниже рангом и менее разборчивы в средствах!..

Аксакова (чиновника министерства внутренних дел — вот чудеса российского либерализма! — В. К.) отпустили... под тайный полицейский надзор, командировав в Ярославль — подальше от столицы. Официальным прикрытием командировки была ревизия городского управления — за ней стояла главная цель: изучение раскольнической секты бегунов. Бродяжничество, исповедуемое сектой, давно интересовало Аксакова, он даже сделал бродягу главным героем одноимённой поэмы.

Как ни странно это звучит сегодня, официальная комиссия по делам церковного раскола, созданная в Ярославле министерством внутренних дел, собрала вокруг себя молодых людей, не растерявших идеалов юности. В этот круг входил и приятель Аксакова писатель-оренбуржец М. В. Авдеев. Его повесть «Иванов», писавшаяся в Ярославле, опубликована с посвящением — «Друзьям К.» (комиссии). Аксаков не однажды читал здесь свою поэму «Бродяга». «Необыкновенно смелым по замыслу» называл произведение Хомяков, Гоголь отмечал «прекрасный стих», «тонкую наблюдательность» автора. Поэму заучивали наизусть, как позже заучивали поэму «Кому на Руси жить хорошо», где Некрасов творчески развил идейные и сюжетные находки «Бродяги».

По доносу ярославского военного губернатора А. П. Бутурлина (вспомним его нижегородского коллегу — губернатора М. П. Бутурлина, обессмертившего себя доносом на Пушкина. — В. К.) начальник Аксакова министр внутренних дел Л. А. Перовский, брат оренбургского губернатора

В. А. Перовского, запросил рукопись поэмы «Бродяга».

Возможно, министр исчерпал на Дале весь свой запас либерализма — вердикт его после знакомства с поэмой был по тем временам суров: автору ставилось на вид нелегальное положение героя поэмы и, самое главное, советовалось, «оставаясь на службе, прекратить авторские труды».

Иван Сергеевич мог вспомнить, как уезжая из Калуги и прощаясь со Смирновой, спросил её, что ему выбрать — творчество или службу? «А как вы думаете, — ответила та, — спросил ли бы Пушкин, какую карьеру ему выбрать?».

Аксаков «написал министру резкое письмо», — единственный для него выбор был сделан.

Долго бездействовать отставленному от службы Аксакову не позволяли ни характер, ни семейный бюджет. Он принял предложение предпринимателя — славянофила Кошелева редактировать журнал «Московский сборник». Вместо планируемых в 1852 году четырёх томов дали выпустить только один. Статьи «Несколько слов о Гоголе» (недавно скончавшемся) и «Об общественной жизни в губернских городах» были с энтузиазмом встречены публикой и с недобрим вниманием — в III отделении и министерстве просвещения. Цензура запретила подготовленный к печати второй том, а участники сборника Иван и Константин Аксаковы, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский и другие отданы под надзор полиции. Ивану Аксакову «на будущее время» была запрещена редакторская деятельность. В славянофилах Николаю I виделась опасность не меньшая, чем в революционерах.

Человек действия, боец по духу, Аксаков как художник расставался с идеалами юности. «Изнанку жизни, лицевую сторону которой представляют законы» он изобразил в самом большом из своих произведений «Присутственный день в уголовной палате». По верности действительности Герцен назвал его «гениальной вещью», опубликовав без имени автора в «Полярной звезде» в 1858 году.

Начало пятидесятых стало для Аксакова временем первых крушений общественных надежд. Он стал «неблагонадёжным»: осенью 1853 года его непустили в путешествие на военном фрегате «Диана» к берегам Японии. По пред-

ложению Императорского Географического Общества он изучает украинские ярмарки: его до сих пор актуальное «Исследование о торговле на украинских ярмарках», опубликованное в 1858 году, удостоено большой Константиновской медали общества и Демидовской премии Академии наук.

Через полгода после начала Крымской войны Аксаков, «неся свою долю тяготы», записывается в Серпуховскую дружину Московского ополчения на должности казначея и квартирмейстера, совершает с дружиной поход к Одессе и в Бессарабию. Осенью 1855 года из Бендер в Москву, — в единственную семью, где поймут, идёт стон отчаяния ополченческого интенданта — заложника самоубийственной честности: «Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов — отцов и благодетелей-взяточников!» Отчёт Аксакова о расходовании казённых денег — косвенное обвинение ополченческого начальства в казнокрадстве — командующий ополчением отказался подписать. Но подвиг честности заметили, и в конце мая пятьдесят шестого Аксаков направляется в Крым — как член следственной комиссии по расследованию недавних беспорядков в продовольственном снабжении войск...

Военные неудачи доказывали необходимость обновления всей русской жизни и, прежде всего, отмены крепостного права — «единственного средства спасения для России».

Заканчивалась Николаевская эпоха, — к ней у практика Ивана Аксакова было больше вопросов, чем ответов. Противоречивые оценки императора Николая I — противника крепостного права, создателя Эрмитажа как национального музея, инициатора первого Российского Свода законов, укрепления рубля, строительства первых железных дорог, развития промышленности, просвещения и науки — дали ещё его великие современники: «Его я просто полюбил. Он бодро, честно правит нами; Россию вдруг он оживил войной, надеждами, трудами» (А.С. Пушкин); «Не Богу ты служил и не России, служил лишь суете своей, и все дела твои, и добрые и злые, — всё было ложь в тебе, всё призраки пустые: ты был не царь, а лицедей» (Ф.И. Тютчев); «Сильная, благородная и весьма идеальная натура» (К.Н. Леонтьев).



Чтобы глубже понять происходящее в России, увидеть истоки западных идей, овладевших российским обществом, особенно молодёжью, Аксаков едет за границу. Он слушает лекции лучших профессоров европейских университетов. В Париже к нему приходит понимание «души Запада»: «отовсюду видны края и дно, стремлений высших нет». В живописной Италии ему легче, на вершине Везувия, на самом краю кратера он напряжённо всматривается в жуткую и притягивающую стихию: подобием человеческих стремлений извергается огненная лава...

В августе того же года в Лондоне он знакомится с Герценом, о чём тот сообщил И. С. Тургеневу: «Наиболее интересное лицо — сын Аксакова (брат ярого славянофила), человек большого таланта, сам немного славянофил, человек с критической жилкой и проницательностью». «Мы с ним очень сошлись». О завершении их отношений через несколько лет написала Н. А. Огарева-Тучкова: «Герцен и Аксаков много спорили, ни один из них не считал себя побеждённым, но у них было обоюдное уважение, даже больше, какая-то симпатия... друг к другу; так они и расстались бойцами одного дела, но с разных отдалённых точек...». Из их переписки видно, что Иван Сергеевич не однажды передавал в Лондон политически взрывные материалы из российской (и оренбургской) глубинки.

В 1859 году умер отец. Со смертью «отесеньки» закончилась эпоха их долгого и счастливого семейного мира. Следующим ударом был добровольный, как считал Иван, уход из жизни Константина... После недолгого неофициального редакторства Ивана Сергеевича прекратил существование журнал «Русская беседа», на втором номере закрыта газета «Парус».

Было от чего опустить руки. Только не Аксакову. Свою новую газету «День» (1861 — 1865) он пытается сделать «голосом земства». Он знает цену «столичной журнальной стряпни», он призывает провинцию проснуться от застоя, самой развивать культурную и духовную жизнь, областную литературу, близкую к «грунту» — народным началам. Однако, как писал В. Розанов, «невидимая могущественная рука охраняла целый ряд антиправительственных социал-демократических журналов. Почему Благосветлов с «Делом» не был гоним, а Аксаков

с «Парусом» и «Днём» — гоним был». Бесстрашная аксаковская газета «Москва», близкая к «Дню», получила девять цензурных предостережений и трижды приостанавливалась, пока не была закрыта.

В начале 1866 года после четырёхлетней переписки Аксаков женился на Анне Фёдоровне Тютчевой, дочери поэта и дипломата Фёдора Ивановича Тютчева. О своей жене, бывшей фрейлине при императрице Марии Александровне, Иван Сергеевич писал одному из доверенных корреспондентов: «...я знал, сколько она томилась в своём золотом дворцовом плену, но даже я в то время не мог предполагать, чтоб между двором со всей его роскошью и блеском и между этой девушкой, прожившей 12 лет при дворе, было так мало общего...».

Сразу после свадьбы молодые уехали в Абрамцево — жить в Москве с двенадцатитысячным долгом, оставшемся после «Дня», было не по средствам.

Они нашли друг друга. «Жена моя, — делился Аксаков с тем же адресатом, — даром что родилась и воспитывалась до 17 лет в Германии, такая славянофилка, что сдаётся мне, — с любовью усыновлена она миром дорогих наших душ, как будто витающих в Абрамцево» (отца, брата Константина, сестёр Веры и Ольги. — В. К.). В конце второго года их жизни проникательный Тютчев писал дочери: «Я счастлив и горд, что такой человек, как он (Аксаков. — В. К.), является твоим мужем».

В 1872 — 1874 годах Аксаков — председатель Общества любителей российской словесности, он автор уникальной «Биографии Фёдора Ивановича Тютчева», первое издание которой в 1874 году конфисковано цензурой и уничтожено из-за общего «предосудительного» направления. За год до этого Ф. И. Тютчев пророчески писал дочери: «Я убедился, что самое бесполезное в этом мире — это иметь на своей стороне разум».

В семидесятые годы в Московском Славянском комитете, который возглавил Аксаков, организована широкая помощь Сербии и Черногории в их национально-освободительной борьбе против турецкого владычества. Комитет вербует и переправляет через границу русских

добровольцев, организует заём сербскому правительству и «всероссийскую народную складчину» на нужды сражающегося народа.

Возглавляет Аксаков и сбор средств для болгарских дружин во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Болгары называли своих ополченцев «детьми Аксакова»: даже военная форма для ополченцев — «пехотная болгарка» — была предложена им.

Победы русской армии привели к Сан-Стефанскому миру, по которому Болгария, Босния и Герцеговина получали автономию, Сербия и Черногория — независимость. Но под давлением Великобритании и Австро-Венгрии русское правительство на Берлинском конгрессе (1878) пошло на расчленение Болгарии и передачу южной её части под власть турецкого султана. На собрании Славянского комитета Аксаков, не умеющий говорить неправды, неслыханно резко назвал вещи своими именами: «Ты ли это, Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побеждённую? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница, каешься в святых, подъятых тобою трудах, молишь простить твои победы?...» По мнению Аксакова, конгресс — «не что иное, как открытый заговор против русского народа», «свободы болгар» и «независимости сербов». Ответ правительства последовал немедленно: славянские благотворительные общества были запрещены, а Аксаков выслан из Москвы.

Аксаковскую речь благодарно услышали в славянских странах. В Болгарии его кандидатуру выдвинули на болгарский престол, позднее его именем названы одна из центральных улиц Софии, улицы в других болгарских городах, деревня в Варненском округе.

В издаваемой им с 1880 года газете «Русь» Аксаков повёл бескомпромиссную борьбу с либеральной интеллигенцией и самим либерализмом, о котором тогда же русский мыслитель Константин Леонтьев сказал в «Варшавском дневнике»: «Разрушив всё старое, подкопавшись под все прежние верования, демократический либерализм не дал взамен ничего созидającego и прочного... Прочно же у лю-

дей именно то, что по существу своему противоречит демократической свободе и тому индивидуализму, который она обуславливает».

Чувствуя себя душеприказчиком старшего брата Константина, Иван Сергеевич готовит трехтомное собрание его сочинений.

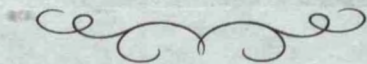
В конце 1885 года и над «Русью» нависла угроза закрытия. И опять в одном из его писем почти стон изнемогающего бойца: «Как трудно живётся на Руси!.. Есть какой-то нравственный гнёт, какое-то чувство нравственного измора, которое мешает жить, которое не даёт установиться гармонии духа и тела, внутреннего и внешнего существования. Фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы и чувство безнадёжности, беспроглядности давят на нас...». На следующий день, 27 января (8 февраля) 1886 года это сердце разорвалось. Так когда-то на Руси погибали «мужи лучшие» на сторожевых заставах...

«Его похоронили как прямого продолжателя дела Сергия Радонежского — в Троице-Сергиевой лавре, — сообщает писатель и директор мемориального Дома-музея С. Т. Аксакова в Уфе Михаил Чванов. — И никто больше из «мирских», кажется, не был удостоен этой чести».

О Михаиле Андреевиче Чванове особое слово. Когда думаешь о нём, на ум приходит простодушный совет Гиллея — одного из мировоззренческих предшественников Христа: «Когда нет вокруг человеков, будь ты им». Сколько хороших, умных, совестливых людей прошло мимо аксаковских развалин — наследия послереволюционных лет, искренне негодовали или печалились, в том числе, и публицистикой, а «в хомут не влегли» (Л. Н. Толстой). Михаил Чванов, автор по-толстовски бескомпромиссной, добротной прозы и книги яркой, острой публицистики «Корни и крона» с любовным вглядыванием на каждой странице в места, людей и события родного края и России, говоря его словами о других, «засучив рукава, принялся расчищать авгиевы конюшни запущенного и осквернённого дома...».

Только он ведаёт, чего это ему с его единомышленниками стоило. Однако, к 1 октября 1991 года — 200-летию

со дня рождения С.Т. Аксакова правительство и министерство культуры Башкирии восстановили мемориальный дом-музей писателя — его деда по материнской линии Николая Семёновича Зубова, где маленький Серёжа провёл несколько счастливых лет. В селе Надеждине «всем миром» воссоздан храм Св. Великомученика Дмитрия Солунского, разрушенный в 30–70-х годах прошлого века, проложены асфальт, газ, восстановлен пруд. И это, пожалуй, лучшее завершение рассказа об Иване Аксакове, об удивительном аксаковском семействе и духовной эстафете, слава Богу, пока ещё бессмертной культуры.



*Знаменская  
церковь  
в Державино  
до реставрации*



*Интерьер  
Знаменской  
церкви  
до реставрации*





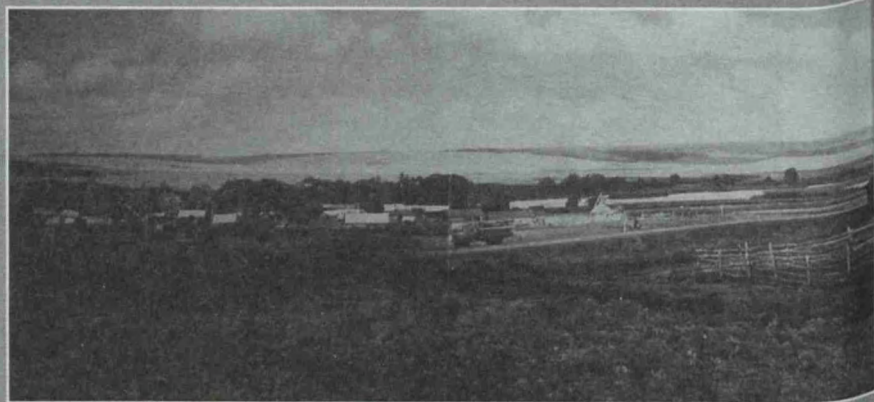
Знаменская  
церковь  
в Державино  
после  
реставрации



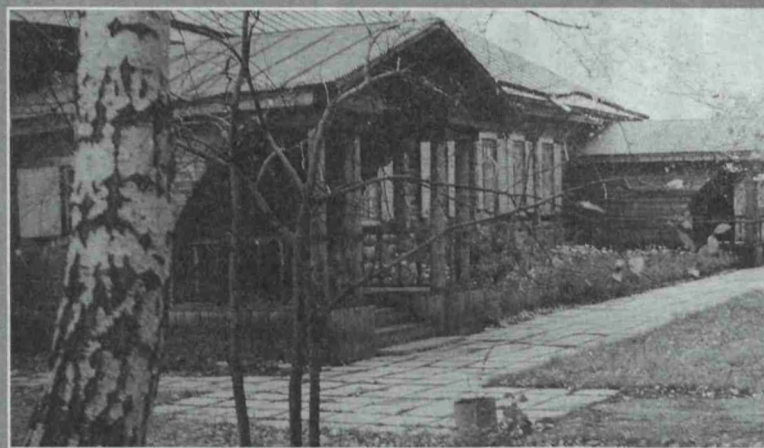
Интерьер  
восстановленной  
Знаменской  
церкви



Церковь в Орске.  
Рисунок В. Жуковского



*Телятник из брусьев разрушенного Дома Аксаковых  
(демонтирован). 1970-е годы*



*Воссозданный Дом-музей С.Т. Аксакова*





*Стены каменной церкви в с. Преображенка,  
выстроенной на месте деревянной церкви,  
в ограде которой, предположительно,  
похоронена мать Н.М. Карамзина*



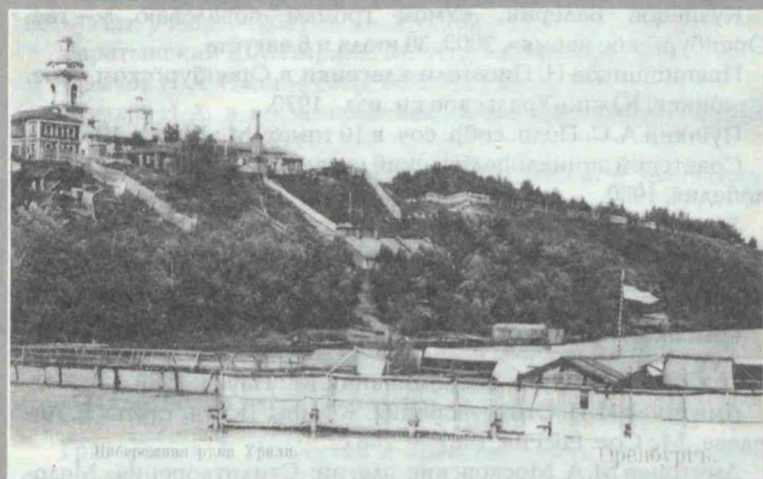
*На этом месте стоял дом Карамзиных*



*«Вечный» мост на старом тракте  
от Оренбурга до Орска*



*Оренбург. Бульвар Белова.  
К очерку «Ненужный человек»*



## ЛИТЕРАТУРА

## «Умом громам повелеваю...»

Аксаков С. Т. Собр. соч. в 4-х томах, т. 2, М.: Худож. литература, 1956.

Брокгауза и Ефрона энциклопедический словарь в 86 томах, т. 19.

Державин Г. Р. Избранная проза. М.: Сов. Россия, 1984.

Державин Г. Р. Стихотворения. М.: Худож. литература, 1958.

Крылов И. А. в воспоминаниях современников. М.: Худож. литература, 1982.

Кузнецов В. «...Я жил, сколь мог, для общего добра». — газ. «Южный Урал» (орган Оренбургского областного комитета КПСС), 1983, 15 июля.

Кузнецов В. «Он пользу общую хранил». — газ. «Комсомольское Племя» (орган Оренбургского областного комитета ВЛКСМ), 1983, 23 июля.

Кузнецов В. «Умом громам повелеваю...». — газ. «Южный Урал», 1989, 21 апреля.

Кузнецов В. Восстановить человеческой надеждою. — газ. «Южный Урал», 1991, 28 марта.

Кузнецов Валерий. Державный строитель слова. — газ. «Оренбуржье», 1993, 14 июля.

Кузнецов Валерий. «Умом громам повелеваю...» — газ. «Оренбургское время», 2003, 30 июля и 6 августа.

Прянишников Н. Писатели-классики в Оренбургском крае. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд., 1970.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10 томах, М.: Наука, 1965.

Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1980.

Ходасевич В. Ф. Державин. М.: Мысль, 1988.

Юрьева Н. «Ум и сердце человецье были гением моим», газ. «Южный Урал», 1993, 27 июля.

## «Высокий пример Карамзина»

Григорьев Аполлон. Воспоминания. М.: Наука, 1988.

Дмитриев И. И. Стихотворения: К лире. Вступ. статья Е. Лебедева. М.: Сов. Россия, 1987. — 288 с.

Дмитриев М. А. Московские элегии: Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти (Сост., пред. и примеч. Вл. Б. Муравьева. М.: Моск. рабочий, 1985, — 317 с. — (Московский Парнас).

Карамзин Н. М. История государства Российского в 3 книгах, М.: Книга, 1988.

Карамзин Н. М. Избранные сочинения в двух томах. М. — Л.: Худож. литература, 1964.

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1987.

Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М.: Наука, 1983.

Кузнецов Валерий. «Я посетил места...». Писатели-классики в Оренбургском крае. Калуга: Золотая аллея, 1995.

Кузнецов Валерий. «Высокий пример Карамзина...» — газ. «Оренбургское время», 2003, 5 и 12 марта.

Пушкин А. С. о литературе. М.: Худож. литература, 1962.

Пушкин А. С. Полное собр. соч. в 10 томах, изд. 3-е, М.: Наука, 1965.

Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1980.

Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М.: Современник, 1987.

Эйдельман Н. Последний летописец. М.: Книга, 1983.

### **Загадка русского Эзопа**

Афанасьев Виктор. Мирской старец. Еще раз об И. А. Крылове. — Лит. учёба, — 2001, — кн. 2, с. 162 — 170.

Баратынский Е. А. Лирика. М.: Худ. литература, 1964.

Крылов И. А. Полное собр. соч. М.: Рипол, 1997.

Крылов И. А. в воспоминаниях современников. М.: Худож. литература, 1982. — 503 с.

Кузнецов Валерий. Загадка русского Эзопа. — газ. «Оренбургское время», 2001, 18 и 19 мая.

Пушкин А. С. О литературе. М.: Худож. литература, 1962.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10 томах. М.: Наука, 1965.

Прянишников Н. Писатели-классики в Оренбургском крае. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд., 1970.

Сергеев Иван. Крылов. М.: Молодая гвардия, 1945.

### **«Одухотворив русскую поэзию...»**

Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М.: Современник, 1986.

Жуковский В. А. Сочинения в трех томах. — М.: Худож. литература, 1980.

Кузнецов Валерий. Я посетил места... Писатели-классики

в Оренбургском крае. — Калуга: Золотая аллея, 1995.

Кузнецов Валерий. «Одухотворив русскую поэзию...» — газ. «Оренбургское время», 2002, 4 и 11 декабря.

Морозов А. А. Губерлинские горы, вы наша гордость! — газ. «Металлург» (орган АО «НОСТА», г. Новотроицк), 1996, 18 июня.

Переписка Н. В. Гоголя. В 2-х т. — М.: Худож. литература, 1988.

Прянишников Н. Писатели-классики в Оренбургском крае. — Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1970.

Пушкин А. С. Полное собр. соч. в 10 томах, М.: Наука, 1964.

Тютчев Ф. И. Стихотворения, письма. — М.: Худож. литература, 1957.

Хомяков А. С. О старом и новом. — М.: Современник, 1988.

**«Ухожу я в мир природы...»**

Аксаков И. С. И слово правды... Уфа, Башк. кн. изд-во, 1986.

Аксаков С. Т. Собр. сочинений в четырех томах. Вступ. ст., подг. текста и примеч. С. Машинского. — М.: Худож. литература, 1955.

Брокгауза и Ефрона энциклопедический словарь в 12 томах. Биографии. — М.: Советская энциклопедия, 1991, т. 1.

Войтоловская Э. Л. С. Т. Аксаков в кругу писателей-классиков. Л.: Детская литература, 1982.

Григорьев А. А. Воспоминания. М.: Наука, 1988.

Григорьев А. А. Искусство и нравственность. — М.: Современник, 1986.

Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. С. Т. Аксаков. Семья и окружение. Краеведческие очерки. — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1991.

Диоген Лаэртский. О жизни учениях и изречениях знаменитых философов/ АН СССР, Ин-т философии; Общ. ред. и вступ. статья А. Ф. Лосева. — М.: Мысль, 1979. — 620 с.

Кузнецов В. По следам Багрова-внука. — газ. «Комсомольское Племя», 1970, 15 августа.

Кузнецов В. Ещё о Багрове-внуке. — газ. «Комсомольское Племя», 1974, 6 июля.

Кузнецов В. Он прославил оренбургские степи. — газ. «Южный Урал», 1979, 30 сентября.

Кузнецов В. Восстановить для потомков. — газ. «Южный Урал», 1985, 1 октября.

Кузнецов Валерий. По следам Багрова-внука. — газ. «Литературная Россия», № 21, 1987, 22 мая.

Кузнецов В. Ветка древа жизни. — газ. «Южный Урал», 1987, 14 октября.

- Кузнецов Валерий. Возрождаются аксаковские места. — газ. «Южный Урал», 1990, 2 октября.
- Кузнецов В. Тревоги аксаковских мест. — газ. «Оренбургье», 1991, 20 июля.
- Кузнецов Валерий. Возвращение Багрова-внука. — газ. «Сельская жизнь», 1991, 2 октября.
- Кузнецов Валерий. Заметки на полях. — газ. «Оренбургье», 1991, 14 сентября.
- Кузнецов Валерий. Я посетил места... Писатели-классики в оренбургском крае. Калуга: Золотая аллея, 1995.
- Кузнецов Валерий. Уроки Аксакова. — газ. «Южный Урал», 1996, 24 июля.
- Кузнецов Валерий. Живое слово и абсурд времени. — газ. «Южный Урал», 1996, 1 октября.
- Кузнецов Валерий. Там, где расцвел «аленький цветочек». — газ. «Труд», 1998, 3 июня.
- Кузнецов Валерий. «Ухожу я в мир природы...» — газ. «Оренбургское время», 2001, 26 сентября и 3 октября.
- Кузнецов Валерий. Чтобы ожила связь времен. — газ. «Оренбургское время», 2003, 1 октября.
- Кузнецов Валерий. «Утихнут мнимые бури...». — Журнал «Москва», № 3, 2003.
- Лобанов М. Поэзия и проза аксаковских мест. — Литературная газета, 1980, 15 октября.
- Лобанов М. П. Сергей Тимофеевич Аксаков. М.: Молодая Гвардия, 1987.
- Прянишников Н. Писатели-классики в Оренбургском крае. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд., 1970.
- Солоухин Владимир. Письма из Русского Музея. М.: Советская Россия, 1967.
- Солоухин В. Аксаковские места. Журнал «Москва», № 8, 1976.
- Чванов Михаил. Корни и крона. Я был в Аксакове... — Уфа: Башк. кн. изд., 1991.
- Чибилев А., Футорянский Л., Большаков Л., Краснов П., Кузнецов В., Саталкин Г., Филатов П., Хлебников Н., Чумаков М., Алтов В., Савельзон В. Возродить усадьбу С.Т. Аксакова. Открытое письмо первому секретарю обкома КПСС тов. Колиниченко А. Ф., председателю исполкома областного Совета народных депутатов тов. Костенюку А. Г. — газ. «Южный Урал», 1990, 20 марта.
- Хомяков А. С. О старом и новом. М.: Современник, 1988.

Толстой А. К. Собрание сочинений в четырех томах. Вступительная статья, подготовка текста и примечания И. Ямпольского. М.: Худож. литература, 1963.

Прянишников Н. Писатели-классики в Оренбургском крае. — Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1970

### **Ненужный человек**

Григорьев Аполлон. Стихотворения и поэмы. М. — Л.: Советский писатель, 1966.

Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М.: Современник, 1986.

Григорьев Аполлон. Воспоминания. М.: Наука, 1988.

Дорофеев В. В. Над Уралом-рекой. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд., 1988.

Достоевский Ф. М. Полное собр. соч. в 30 томах. Примечание (К статье Н. Страхова «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве»), т. 20, Л.: Наука, 1980.

Кузнецов Валерий. Ненужный человек. — газ. «Оренбургское время», 2001, 25 июля и 1 августа.

Никоньчев Юрий. Русский Гамлет. — газ. «Литературная Россия», 1992, 31 июля, № 31.

Прянишников Н. Писатели-классики в Оренбургском крае. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд., 1970.

Фет Афанасий. Воспоминания. М.: Правда, 1983.

### **Без страха и сомненья**

Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Аксаков С. Т. Семья и окружение. Краеведческие очерки. — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1991, с. 222, 224.

Добросмыслов А. И. Тургайская область. Исторический очерк. Известия Оренбургского отдела Императорского Русского Географического общества, выпуск № 17, Тверь: Типо-Литография Н. М. Родионова, 1902, С. 391 — 394.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 тт. Л.: Наука, 1972, т. 26.

Кузнецов Валерий. «Без страха и сомненья». — газ. «Оренбургское время», 2002, 22 и 29 мая.

Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872 — 1891). — М.: Республика, 1996.

Плещеев А. Н. Стихотворения. Вступ. статья, ред. и прим. А. В. Федорова. Л.: «Сов. писатель», 1948 (Б-ка поэта. Большая серия).



Плещеев А. Н. Пашинцев, — Впервые, — Русский вестник, 1859, № № 21, 22, 23, ноябрь — декабрь.

Прянишников Н. Писатели-классики в Оренбургском крае. — Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1970.

Хомяков А. С. О старом и новом. М.: Современник, 1988.

### **«Опять возрождаюсь к жизни...»**

Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М.: Современник, 1986.

Концевич И. М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. Париж. 1952. с. 5 — 6.

Кузнецов Валерий. «Опять возрождаюсь к жизни...». — газ. «Оренбургское время», 2003, 17 и 24 сентября.

Палиевский П. В. Русские классики. Опыт общей характеристики. М.: Худож. литература, 1987.

Прянишников Н. Писатели-классики в Оренбургском крае. — Челябинск: Южно-Уральское кн. изд., 1970.

Толстой Л. Н. Собрание соч. в 22-х томах. М.: Худож. литература, 1978.

### **«Восторга пламенного полн»**

Аксаков И. С. И слово правды. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1986.

Аксаков С. Т. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, М.: Худож. Литература, 1956.

Брокгауза и Ефрона энциклопедический словарь в 12 томах. Биографии. М.: Сов. энциклопедия, 1991, т. 1.

Герцен А. И. Былое и думы. Ленинград: Худож. литература, 1946.

Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Аксаков С. Т. Семья и окружение. Краеведческие очерки. — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1991.

Кузнецов Валерий. «Восторга пламенного полн». — газ. «Оренбургское время», 2003, 15 и 22 января.

Леонтьев К. Восток, Россия и славянство. М.: Республика, 1996.

Лобанов М. П. Сергей Тимофеевич Аксаков. — М.: Молодая Гвардия, 1987 — Жизнь замечательных людей.

Поэты кружка Н. В. Станкевича. Н. В. Станкевич, В. И. Красов, К. С. Аксаков, И. П. Ключников. М.: Ленинград, Сов. писатель, 1964.

Русская поэзия XIX века. М.: Худож. литература, 1956.

Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М.: Худож. литература, 1957.

Хомяков А. С. О старом и новом. М.: Современник, 1988.

Чванов Михаил. Корни и крона. Я был в Аксакове... — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1991.

### Он жил для «подвигов суровых»

Аксаков И. С. Письма из провинции. Присутственный день в уголовной палате. (Вступ. ст., сост. и прим. Т. Ф. Пирожковой.) М.: Правда, 1991.

Аксаков И. С. И слово правды. Стихи, пьеса, статьи, очерки. (Сост., пред. и коммент. М. А. Чванова.) — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1986.

Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 4 томах. М.: Худож. литература, 1955.

Брокгауза и Ефрона энциклопедический словарь в 12 томах. Биографии. М.: Сов. энциклопедия, 1991, т. 1.

Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. С. Т. Аксаков. Семья и окружение. Краеведческие очерки. — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1991.

Достоевский Ф. М. Полное собр. соч. в 30 томах. Л.: Наука, 1972, т. 30, кн. 1, с. 213—214.

Кузнецов Валерий. Он жил для «подвигов суровых». — газ. «Оренбургское время», 2004, 18 и 25 августа.

Леонтьев К. Восток, Россия и славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872—1891). М.: Республика, 1996. — 779 с.

Лобанов М. П. Сергей Тимофеевич Аксаков. М.: Молодая Гвардия, 1987. — Жизнь замечательных людей.

Розанов В. В. Мысли о литературе. Вступ. стат., сост., коммент. А. Николоюкина. М.: Современник, 1989.

Русская поэзия XIX века. Т. 2. М.: Худож. литература, 1974.

Сент-Бёв Ш. Литературные портреты. Критические очерки. — М.: Худож. литература, 1970.

Тарасов Борис. Рыцарь самодержавия. — журнал «Москва», 2000, № 9.

Тютчев Ф. И. Стихотворения, письма. М.: Худож. литература, 1957.

Хомяков А. С. О старом и новом. М.: Современник, 1988.

Чванов Михаил. Корни и крона. Я был в Аксакове... — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1991.

## СОДЕРЖАНИЕ

От автора.....	4
«Умом громам повелеваю...» (Г. Р. Державин).....	7
«Высокий пример Карамзина» (Н. М. Карамзин).....	25
Загадка русского Эзопа (И. А. Крылов).....	37
«Одухотворив русскую поэзию...» (В. А. Жуковский).....	49
«Ухожу я в мир природы...» (С. Т. Аксаков).....	61
Свидание с пылающей эпохой (А. С. Пушкин).....	107
Подвиг Даля (В. И. Даль).....	123
«Служа таинственной отчизне...» (А. К. Толстой).....	135
Ненужный человек (А. А. Григорьев).....	147
Без страха и сомнения (А. Н. Плещеев).....	159
«Опять возрождаюсь к жизни» (Л. Н. Толстой).....	171
«Восторга пламенного поля» (К. С. Аксаков).....	183
Он жил для «подвигов суровых» (И. С. Аксаков).....	195
Литература.....	214

Хомиков А. С. О старинных башнях Магистрата в Оренбурге, 1988.  
 Чудинов Михаил. Корни и кроны. Д. Белок. в журнале «Южный Урал»  
 Башк. кн. изд-во, 1991.

Он и она для любимой страны..... (И. П. Даржанов)

Александр И. С. Письма из провинции. Повесть. Оренбург, 1991.  
 в университетской библиотеке (Истор. ст. сост. в прим. Т. Ф. Пиняковой) и М. П. М. Пресс, 1991.

Александр И. С. И само прощание. Стихи. Письма. Оренбург, 1991.  
 (Сост. Г. И. Грибанова, М. А. Носова). Орен. Башк. кн. изд-во, А. П. 1991.

Александр И. С. Стихи. Письма. Оренбург, 1991.  
 редакция (И. П. Даржанов)

Брюккунга и Гирона энциклопедический словарь в 12 томах  
 Библиография. М.: Сов. энциклопедия, 1991, т. 1. «...издание: гим и в уроч...

Давыдов Г. Ф. Туземцы Урла. С. Т. Александров. Стихи и зарисовки  
 Кривенчатские очерки. — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1991.

Досужевский Ф. М. Подлинное собр. соч. в 20 томах. Оренбург, 1991.  
 т. 30. кн. 1, с. 213 — 214.

Кузнецов Валерий. Он и она для любимой страны..... (И. П. Даржанов)

**КУЗНЕЦОВ Валерий Николаевич**

## Я ПОСЕТИЛ МЕСТА

Фото из архива автора

Фото на обложке К. Мисевича

На обложке книги: гравюра с акварели Павла Свинына

Технический редактор — И. М. Жосан

Верстка — А. М. Матросова

Корректоры — Г. И. Грибанова, Е. Д. Кобзева

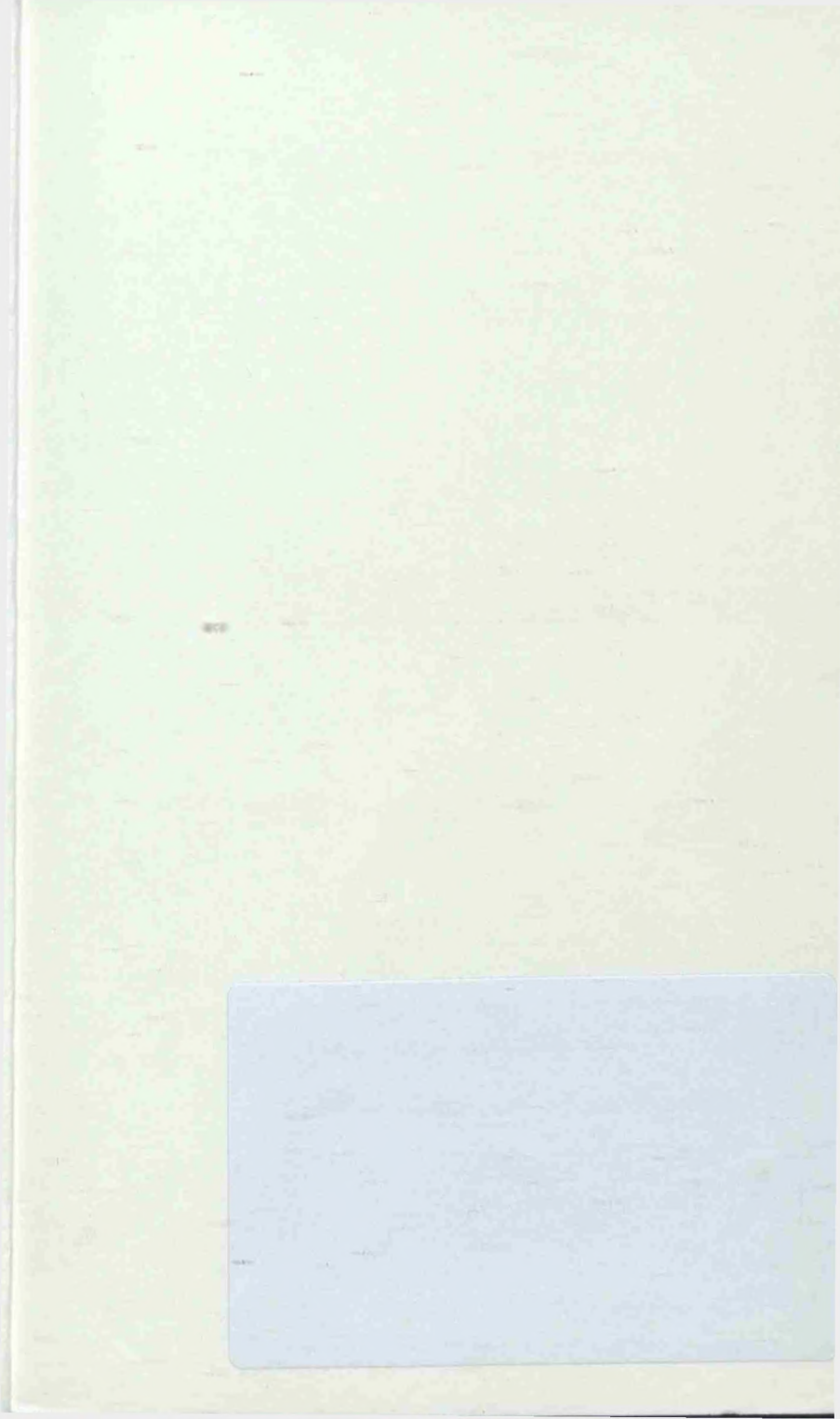
Подписано в печать 17.01.2014 г.

Формат 84×108/32. Печать офсетная.

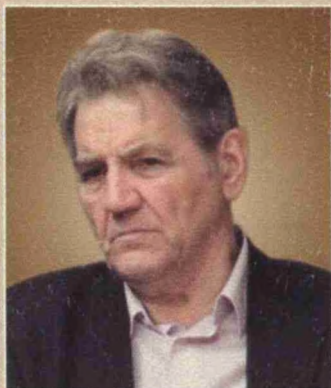
Гарнитура Baltica С. Уч.- изд. л. 9,72. Усл. печ. л. 11,76.

Тираж 300. Заказ 12153.

ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Южный Урал»,  
 460000, г. Оренбург, пер. Свободина, 4.



30p



Как часто в серьёзных делах мы обязаны случаю! В 1970 году в Оренбургскую писательскую организацию пришло письмо Председателя правления Союза писателей России, всесоюзно известного автора книг для детей Сергея Владимировича Михалкова с рекомендацией обследовать литературные места Оренбуржья. И в писательскую командировку в Аксаково, что под Бугурусланом, выехал студент Литературного института им. А.М. Горького, тогда топограф Валерий Кузнецов.

Так завязался многолетний интерес поэта к весьма не простым проблемам литературного краеведения Оренбуржья, а из газетных и журнальных публикаций начала складываться книга, второе, дополненное издание которой сегодняшний читатель держит в руках.

Книга «Я посетил места...» – не кабинетное произведение. В служебных командировках, в литературных экспедициях, организованных Оренбургскими отделами Географического общества СССР и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, автор проехал и прошёл жизненными путями своих героев, вместе с писательской организацией и многими читателями всех возрастов и призваний принимал душеобразующее участие в восстановлении Аксаковских и Державинских мест Оренбуржья.

Через прихотливые, порой парадоксальные и всегда познавательные писательские судьбы книга «Я посетил места...» может помочь в познании самих себя, – и пусть при этом, как говорит Блез Паскаль, мы не постигнем истины, зато наведём порядок в собственной жизни, а это для нас самое насущное дело.